

издатель сатирику) арт. 102

ручку вместе с заказом по договору К 30/09/05-2, при

за **Александр Архангельский**

# ЦЕНА ОТСЕЧЕНИЯ

РОМАН

...мы устанавливаем цену отсечения,  
больше которой дать не готовы...

Тезро по курсу ЦБ РФ на день оплаты +1%

ней)

1

Итого в у.е.:

В т.ч. НДС 18% в

Александр Архангельский

## **Цена отсечения**

«Автор»

**Архангельский А. Н.**

Цена отсечения / А. Н. Архангельский — «Автор»,

Роман «Цена отсечения» – остросюжетное повествование о любовной драме наших современников. Они умеют зарабатывать – но разучились выстраивать человеческие отношения. Они чувствуют себя гражданами мира – и рискуют потерять отечество. Начинается роман как семейная история, но неожиданно меняет направление. Любовная игра оборачивается игрой в детектив, а за всем этим скрывается настоящее преступление.

© Архангельский А. Н.

© Автор

# Содержание

Часть 1	5
Первая глава	5
Вторая глава	9
Третья глава	25
Четвертая глава	35
Конец ознакомительного фрагмента.	53

# Александр Архангельский

## Цена отсечения

### Роман

**Фауст**

*Что там белеет? говори.*

**Мефистофель**

*Корабль испанский, трехмачтовый,*

*Пристать в Голландию готовый:*

*На нем мерзавцев сотни три,*

*Две обезьяны, бочки злата,*

*Да груз богатый шоколата,*

*Да модная болезнь: она*

*Недавно к нам завезена.*

**Фауст**

*Все утопить.*

**Пушкин. Сцена из Фауста**

*"Мы предварительно оцениваем рыночную стоимость объекта и возможные риски, связанные с его приобретением. Еще до выхода на аукцион устанавливаем цену отсечения, больше которой дать не готовы", – рассказывает заместитель генерального директора ЗАО "Зест" Светлана Рясная.*

*Газета «Ведомости», № 233 (1760) от 11. 12. 06*

## Часть 1

### Первая глава

События проистекали так. – Первого января начали действовать новые гаишные правила. Ранним утром второго Жанна Ивановна и Степан Абгарович проводили Тёмочку в аэропорт: будь неладен вевейский лицей. В субботу тринадцатого шумно отгуляли Степин юбилей, во вторник шестнадцатого тихо отметили очередную годовщину свадьбы – вечером выпили по рюмочке, поцеловались, и привычно, мирно, ласково разошлись по соседним квартирам. А тридцатого Жанна поднялась пораньше, восьми еще не было, выгребла из почтового ящика пачку газет, счетов и буклетов. Не дожидаясь прихода МарьДмитрьны, сама заварила чай, рассортировала почту, проглядела. И ясная, размеренная жизнь вдруг помутнела и запуталась.

Конверт был заклеен халтурно. Фотография выскользнула сама собой. Глянцевая, десять на пятнадцать. В нижнем левом углу помета. Золотистая, циферки ломаные. *Дата.* 16.01. *Время.* 10:37:24. *Место.* Дмитровское шоссе, 42 км. *Скорость.* 124, 5 км/ч. *Превышение.* 44, 5. В конверте застряла шероховатая квитанция: на основании... штраф... в двухнедельный срок... И синеватый штампик в правом верхнем: ГИБДД.

Направление пути понятно; несколько минут – и Сорочаны, горнолыжный спуск, они там всей семьей бывали. На фотографии – их черная восьмерка, «Ауди» шестого года выпуска. Легкая вмятина на левом переднем крыле: на даче Степа криво парканулся, и Жанна зацепила, въезжая в гараж. О своей покоцаной машинке, милой девочке, она позаботилась сразу; Степина *авдюшка* до сих пор со шрамом. Сколько раз просила Васю починить. Но личный водитель,

как сопливый бульдог, признает хозяина – и только. А Степе на мелочи плевать. Все для него ерунда.

Но вот уже не ерунда. На фотографии – никакого Василия. Хотя с утра шестнадцатого он заходил: забрал баулы, в химчистку, пока Степан Абгарович *вопросики порешает*. Василия на фото нет, а Степочка есть, на правом сиденье, в тени. Затемненное стекло приспущено, как будто бы нарочно, чтобы не было сомнений: это он. Седая грива стянута резинкой, на плече жесткий, проволочный хвостик. А за рулем – профурсетка.

Лупы у Жанны не было. Зато было Степино зеркало для бритья, с увеличением. Она пошла в ванную, мельком взглянула на себя: и за что ей это? ведь она же хороша? ладенькая, черненькая, с синими глазами, почти совсем не старится и не седеет... Обычная? много таких? может, и много, да меньше, чем этих... Приставила фотографию, надела утренние очки, включила подсветку. Девка молодая и восточная, смоляные волосы до плеч, дымчатые стекла, красная оправа. По утрам беговая дорожка, два раза в неделю солярий, по воскресеньям спа и японская бочка с распаренными цветиками; до сорока – товарный вид, потом – зачистка кожи, подтяжки и откачка жира. Типичная охотница, своего не упустит. Явно знала, что шестнадцатое – их символ, семейный день. Потому и настояла на свидании, наметила трещину. Прикинулась дурочкой: ах, мой милый, конечно, как же я забыла, прости-прости-прости. Я ничего, я так, безо всякой задней мысли, просто захотелось покататься на лыжах! Вдвоем, только ты и я... Ничего, не судьба, не сейчас, так в другой раз... После нежных извинений отказать неловко; невинное приключение, платоническое. Покатались, покраснелись, потом слегка замерзли, выпили пахучего глинтвейну, поехали домой. Но глинтвейн согревает сердце; разогретое сердце уступчиво; девчонка это знает не хуже, чем Жанна. И после *этого*, пропитанный обманом, он посмел заявиться на кухню! сказал ненавязчивый тост, отметил: я тут, в семье, хороший, добрый, твой.

От обиды кровь загустела, стала двигаться толчками, рвать сосуды изнутри. Первое желание было: выскочить на лестничную площадку, вломиться в Степину квартиру, растолкать, поднять на ноги, ткнуть фотографией в харю, заверещать, а лучше взвыть. Она была бы маленькой и беззащитной, а он стоял бы перед ней большой, лохматый, с распущенными космами, в полосатых трусах, растерянно пахнувший утренним потом. Что стряслось? который час? А она бы вдруг успокоилась и сказала бы. Не то беда, что в машине баба. Баба – что уж, баба дело наживное, пришла, ушла... И даже не то беда, что уговор нарушен. А то беда, что это *наш* день. И ты мелко соврал: срочные дела, облом, кредиты. Зачем? я же не спрашивала. Я никогда не спрашиваю, Степа...

Никуда она не пойдет, ломиться не станет. Столько прожито вместе, через такое прошли, что за полудетские порывы. Обиду можно пережить, ярость остынет. Большой любви у них давно уже не было, зато было нечто более дорогое и надежное: тихий мир, молчаливый уговор о доверии. И в отношении амуров, и в отношении расходов, и в любом другом отношении.

Взять квартиры. Дверь в дверь, у каждого ключи от обеих, тайн никаких, но все-таки на ночь – врозь. Кто не знает, может подумать, что это мягкая форма разъезда: ну не спят супруги вместе, делов-то, не они первые, не они последние, зато расстаться до конца не хотят, договорились о взаимной автономии; молодцы. Ничего подобного! В *этом* смысле они вполне себе спят. Не слишком часто, не очень бурно, но ей хватает. А досыпают – врозь. Степа физически не может пробуждаться в одной комнате с другим человеком. Даже если этот человек – жена. Он объявил об этом на излете первого свидания, в Томске; Жанна тогда замутила истерику; он молча собрался, тихо прикрыл за собой дверь, и равнодушно ушел в темноту. Она решила – навсегда, ревела. Но нет: вечером вернулся как ни в чем ни бывало, а поздней ночью опять исчез.

В Москве они снимали разные квартиры. Желательно в одном подъезде. Хозяйки, старые московские хрычовки с черными усиками над губой и дурным запахом изо рта, вертели

паспорта, сличали штампы о браке и никак не брали в толк: если муж и жена, почему живут раздельно? Если живут раздельно, почему муж и жена? Не воровская ли шайка?.. Старухам было тревожно, но жадность брала свое; они накидывали десятку – за дополнительный риск, и ковыляли на кухню, чай пить *с сушками*.

Потом купили парную берлогу на Покровке, две двушки на втором этаже. Район понравился обоим; теперь они селились только здесь, в пределах Чистопрудного бульвара. Чем богаче становились, тем просторней было сдвоенное жилье, выше этаж. Но правило не менялось: с утра до ночи любящие супруги, с ночи до утра мирные соседи. И ничего себе, жили. До тридцатого числа января месяца две тысячи такого-то года.

Не в девчонке было дело. Точнее, не только в ней. Любовницы, они зачем нужны? Для страсти, которая выветрилась из домашних отношений. А на этой фотографии, будь она неладна, расслабленные позы, никакого возбуждения, семейный покой. Девка сидит привычно, с удобством, почти лениво, как хозяйка; наверное, беззаботно лопочет. И Степан развалился уютно. Голубки. Это – страшно. Страсть полыхнет и погаснет. В ней каждый остается по себе, партнеры делят удовольствие, как доли в прибыли. А взаимный покой связывает любовников, сплетает, обволакивает. Им хорошо вместе, поодиночке – худо. Прорастут, не отдерешь. И что тогда?

Казалось: жизнь расчислена до самого итога, канва прочерчена, осталось вышить крестиком узоры. Через десять лет – первые внуки, через двадцать – свежая старость; через тридцать болезни, голубиный старческий клекот, а потом раздастся – пык, как газ на выключенной конфорке, и обступит вечный покой. Обступит и обступит. Тебе уже будет все равно, а дети-внуки как-нибудь переживут. И что теперь? Прости прощай, начинаем с нуля? Тёмочкину нет шестнадцати, он еще не встал на ноги. Жанне тридцать восемь, и она уже никем не будет. Всегда при муже. И при каком муже! Страшно умном, очень вредном, иногда щедром и полностью открытым, иногда вдруг обжигающе-холодным, жадным и чужом. Но – неформатном. С ним было не только надежно – мало ли надежных мужчин; с ним было интересно, он излучал энергию, мощную, грубую: не подзарядиться невозможно.

Было... почему было-то? что за прошедшее время?

Кровь отлила от лица, раздражение погасло, навалилась тупость. Жанна аккуратно (она все делала аккуратно) склеила конверт, придавила плотнее. Как в тумане, спустилась вниз, сунула проклятое письмо в почтовый ящик: не было ничего, не видела, не знаю, сам разбирайся. Вернулась на кухню, открыла холодильник – ну-ка, что тут у нас?

У нас тут была творожная масса, вареная колбаса – языковая, с тонкой окружностью жира в сердцевине, черные испанские помидоры с красновато-зелеными крапинками, мокрая моцарелла, горько пахнущий базилик, жирные греческие маслины; на нижней полке в колючей бумаге лежал тонко наструганный хамон, за ним стояла мисочка с вареной гречкой. Степа любит, чтоб холодильник был набит – комплексы голодного детства; у нее в семье с едой был военный порядок, ей все равно, но Степа хочет – и его желание закон.

В боковом шкафике были найдены мед и джем, у плиты бутылочка с драгоценным оливковым маслом, не то что первый холодный отжим, а какой-то почти нулевой, из Кордовы в сентябре привезли, до сих пор растягивали удовольствие; в хлебнице остался чесночный хлеб, разогреваешь – очень вкусно, а потом почистил зубы, и порядок.

Жанна стала есть. Не особо различая вкус. Колбасу заедала оливками, моцареллу хамоном, гречку сдабривала маслом и ковыряла ложкой творожок, поливала джемом чесночный хлеб.

Процесс жевания успокаивал, оттягивал тоску. Было в этом что-то животное, коровье: равнодушно жевать жвачку, прислушиваться к движению желудочного сока, ласково и бессмысленно смотреть на мир.

Постилась, худела, усердно потела в фитнесе, два раза в день вставала на весы; не уле-  
дишь, расползешься, обратно квашню не упихнешь. А теперь сидела на кухне и в полном оди-  
нчестве набирала вес.



## Вторая глава

### 1

Дверь щелкнула затвором; автоматически открылась. Хозяин объявил по громкой связи: проходите, я через минуту. Сутулый молодой старлей и короткий майор с брылями потоптались в прихожей. Огляделись. Сделано все грамотно, интересно. Взять камеры слежения. Обычно болтаются в воздухе, как детские модели вертолетов; здесь – вмонтированы в стены, по всему периметру; только профессионал поймет, что за блестящие кружочки.

И планировка необычная. Коридор, можно сказать, отсутствует. Внутренние стены тоже. Метров шестьдесят, а то и семьдесят открытого пространства – нараспашку. Но с перепадами: «ехали-ехали в лес за орехами»: все помещения на разных уровнях. Прихожая, как подиум, приподнята сантиметров на двадцать; на первом спуске – полукруглый холл; возле камина полосатые кресла, желто-зеленого старинного оттенка, у окна – такая же оттоманка. Стеллаж с кассетами, виниловыми дисками, сидюками и толстыми талмудами по экономике. На одной стене домашний кинотеатр, не то чтобы очень уж новый. На другой, вразброс, географические карты. Одна огромная, с размахом, в полстены: «Генеральная карта Российской империи». Другие поменьше, победнее; в основном почему-то Сибирь.

Еще ступенька вниз, и ты – на кухне. Или в столовой, сразу не определишься. Плита и мойка отсечены от зала, расположены в углу и на приступочке. Перегородок нет. Одни повышения и понижения. Хмельным не очень-то походишь: спотыкач. Хорошо хоть света много.

На белых полках, утопленных в стену, стояли деревянные коробки, разного калибра. Потемневшие, карябанные, старые. С крохотными дырочками. Внутри – загадочные зеркала. Лейтенант поставил ящик на широкий подоконник, навел отверстие на заснеженный дуб посредине двора; на косой серебристой пластине проявилось слабое сияние, наметилась дрожащая картинка; дуб оплывал и змеился, как змеится раскаленный воздух над асфальтом.

Лейтенант подошел к камину. Оказалось, дымоход, похожий на опорную колонну, не примыкал к несущей стене; это был обман углового зрения. За колонной прятался коридор, уводящий вглубь квартиры: еще одна полуступенька вверх, пол приподнят, а потолок приспущен. В прихожей, холле и столовой все такое открытое, просторное, а в коридоре низкое и узкое. Как переход из отсека в отсек на подводной лодке, где лейтенант отслужил когда-то срочную. Но по обе стороны – сплошные окна. Надстройка на крыше!? Да нет же, фальшак! Искусственный свет под стеклом. Но выглядит красиво и солидно.

Майор тем временем изучал плитку. Сел на корточки, пощупал, постучал, мизинцем проверил корявые швы. Он и сам занимался ремонтом, дело как раз дошло до кафеля. Плитка выложена крупно, квадратно-гнездовым. Черный квадрат, белый. Черный, белый. Кафель шершавый, матовый. Стильно, современно. Хотя и рябит в глазах с непривычки.

У окошка стоит деревянный стол, массивный, грубо струганный, крашенный черной краской. На столе – серебряная сахарница, щипчики для кускового рафинада, стальная кофейная чашечка и тяжеловесный *куркулятор*. Слева от стола, чтобы свет поотчетливей падал, перекидной планшет. Почти в человеческий рост. Весь лист исчеркан кружочками, стрелочками, штрих-пунктирами.

**Вход → 45/ 55.**

**Пат. бюр., ФАПСи.**

**Выход# пок. 100 % «Милены» →→ Новосиб, Томск, Свердл., китайцы.**

**Переброс: Бойко.**

**Обнал: 11 %.**

**Бенефици.: CyprusLtd. → реестр → Гибр. ½ Поср. # ± 250–300.**

Непонятки.

И вдруг появился хозяин. Вынырнул из-за угла. Но не слева, из каминного коридорчика, а справа, где все казалось плотно пригнанным: как будто бы прошел между стен. Очередная уловка: стены матово-белые, швы неразличимы; маленькие и большие зеркала отражают свет; блики и тени смещаются. Издалека посмотришь – столовая и холл сошлись вплотную, встык, а приглядишься – между ними незаметный вход во второй коридор, потайная нора. Пока они бродили и принимались, думая, что их никто не видит, хозяин преспокойно наблюдал за ними в кабинете, на экране; прикидывал, как будет разговаривать. Их посчитали; неприятно. Бодание еще не началось, а хозяин уже заработал очко.

Он и сейчас не спешил навстречу, спокойно изучал гостей издалека. И они на него посмотрели. Довольно смуглый, цыганистый. Высокий, плотный, кучерявый, с хвостиком. Внешность характерная. Скулы широкие, от носа к губам намечены резкие складки, на щеках вертикальные морщины. Лет ему примерно пятьдесят. Рубашка навывпуск, домашняя, защитного цвета. Рукава закатаны, руки жилистые, мускулистые, волос на руках черный, без проседи. Штаны широкие, невероятное количество карманов; молодежно, не по-возрасту.

Хозяин вдоволь нагляделся, подошел, протянул руку, подчеркнуто весело спросил:

– А вы, ребята, случаем, не из ГАИ? Ты – типичный батя, он – братан; с батей можно разговаривать, а вот если братан упрется...

– За что? – обиделся старший. – Мы не подорожники, прошу не путать. Разговор у нас будет долгий, а мы еще не завтракали. Надо бы подкрепиться.

– Добро. Сейчас одиннадцать без пяти. Вы с утра водку пьете?

– А где же ты видел ментов, которые с утра водку не пьют?

## 2

Хозяин вышел за дверь; роли у гостей переменились. Лейтенант устранил сутулость, крутанул часы, болтавшиеся на запястье, важно посмотрел на циферблат; майор утратил показную наглость, положил короткоствольный автомат на стол, подсел к планшету и стал ученически срисовывать схему в блокнот. Старлей заглянул через плечо и ласково, покровительственно пожурил:

– Что же вы тупите, Василич? Не видите разве, схема не сработала.

– А ты как понял, Роман Петрович?

– Ну не дурак же он на это соглашаться. Ладно, не буду вас лопушить. Лучше-ка сосредоточьтесь, много не пейте и помните, о чем я говорил.

– Слушаюсь.

## 3

Томичам Степан Абгарович отказывал редко. Но слишком рано и слишком плотно легли вчерашние физики под бандитов. Они долго и увлеченно чиркали по планшету фломастером, чертили схемы и схемки; особенно старался этот, с противным наростом у правой ноздри; напрасно. Гнилой, болотный воздух Мелькисаров различал за версту, зажимал нос и прощался с порога. Он вообще обладал звериным чутьем – и на добычу, и на угрозу. Еще беззаботно чевыкают птицы, в природе разлит покой, но по кончикам волос уже стремится холод, кожа на загривке сжимается и дубеет, шерсть встает дыбом. Надо замереть, наострить уши, и внезапно прыгнуть. Вперед, если дичь. А если охотник, то вбок. Сначала в густую траву, затем в глухую тень, и рысцой, рысцой в сырую чащу, почти не оставляя следов.

Первый раз он вовремя отпрыгнул на излете брежневской эпохи.

Позади был Томский универ, впереди вечерний техникум, должность старшего препода. Жить на жалкие сто сорок рэ он не собирался: хватило голодного детства. Мать, училка начальных классов, растила их с братом одна; самой вкусной домашней закуской был бутерброд из черного хлеба с распластанной балтийской килькой, черно-серебристой и блестящей, сверху кружок репчатого лука, слюнки текли; на третье полагался кусок белой булки, щедро посыпанный желтым сахарным песком... Есть хотелось всегда; в старших классах Степа начал разносить почту, студентом шабашил, всегда был при средствах; не переходить же опять на голодный паек?

Решение созрело быстро. Мелькисаров одолжил побольше денег, скупил, где мог, запчастки к «Жигулям», свез к приятелю в гараж, нанял слесаря дядю Вову, прикормил милицию. К первому гаражу добавился второй, за ним третий, четвертый; дело ширилось; вскоре все в городе было схвачено: магазины, клиенты, посредники, районная и городская власть. По пути из дома в техникум Степан Абгарович любил прикинуть, как долго он мог бы содержать всех своих коллег и студентов, всю эту тысячу бездельников. Сначала получалось – месяц, потом – полгода, год. Азарт ударял в голову, энергия с шипением рвалась наружу; он думал, что счастлив.

Но деньги легче было заработать, чем потратить. Захотелось дачу – пришлось по двойной цене выкупать у везучего сантехника выигрышный билет денежно-вещевой лотереи. Окраинную комнату он поменял с доплатой на однушку. В самом центре, возле резного музея писателя Шишкова, – того, который написал про Угрюм-реку, еще фильм такой был; но даже не двухкомнатная. Место в очереди за машиной выкупил у коллеги, прикрывшись кредитом в кассе взаимопомощи. Он мог договориться с местными вояками о вертолете, утащить кампанию в тайгу, на лося, а то и на медведя; упоить хорошенькую девушку шампанским, подарить ей ярко-синий Levi's с медно-красной молнией и множеством желтых заклепок, достать французские духи «Шанель». И все. Тупик. Счета во всех сберкассах Томска – максимум по десять тысяч, чтоб не рисковать, бесконечные пачки облигаций трехпроцентного займа, старинные кольца, браслеты и броши, сложенные в целлофановый пакет, однообразие жизни, тоска.

Единственная радость – несколько старых картин; их ему устроил грамотный спекулятор Гарик – лысый, тощий, верткий. Гарик наезжал в Сибирь два раза в год; по весне собирал заказы, в ноябре развозил товар, завернутый в старый персидский ковер. Васнеца тащил в Новосибирск, Айвоза – в Иркутск, Шагала доставлял омскому еврею Габриловичу, а в Томске завершал вояж, выдавал Мелькисарову очередного передвижника, и уходил в странный загул. Просыпался в шесть утра, в трусах и майке шлепал на кухню, одиноко выпивал бутылку водки без закуски, и снова засыпал – до вечера.

Степан крутился по делам, а Гарик отдыхал. Тонко, по-женски всхрапывал; иногда открывал глаза, долго смотрел на картины. Его обступали какие-то смутные образы. Тяжеловесный репинский эскиз к портрету государя Александра Третьего; еврейская Русь Левитана, серо-сумрачная, влажная; летние наброски Боголюбова и зимние – Куинджи; жутковатая заготовка к «Распятию» художника Ге: в лунном свете на кресте висит некто, похожий на абортированного уродца... И Гарик опять засыпал.

И еще были старые карты. Допетровские, имперские, советские. Кабинетные, армейские, дорожные. Их он покупал в командировках, безо всякого Гарика. Пористые, рыхлые, почти пустые карты шестнадцатого века, с редкими точками цветных городов, серыми паутинами гор и черными трещинами рек; лоцманские карты семнадцатого, океанического века – засаленные, замызганные воском: то ли это мели, то ли пятна; изысканные восемнадцативековые, наумяченные, запудренные, подведенные тушью, обсиженные населенными пунктами, как ложными родинками мушек; армейские карты Крымской войны, прорванные на сгибах, иссеченные карандашами, раскрашенные стрелами и флажками; лживые карты 30-х – радужные,

розово-зелено-синие, до прозрачного светлые, с лиловыми печатями НКВД... Отличная коллекция. Жаль, не развесишь: стен не хватит.

Жизнь была ровная, четкая. Брежнев правил свой последний год, система блаженно гнила на корню, а деньги текли рекой. Но Мелькисарова внезапно словно укололо: охотник близко, пахнет сладким порохом, горячей медью, душным свинцом. Проносились слухи про самоубийства: милицейского министра Щелокова, гэбэшного начальника Цвигуна, узбекского вождя Рашидова. Андропова с Лубянской площади внезапно, без причин перевели в ЦК... Не долго думая Степан за три копейки продал гаражи партнерам, оформил паспорт моряка и улетел на Камчатку, рыболовецким матросом.

Они ходили через Океан, добирались даже до Бермудов, несколько раз швартовались в портовых городах, меняли водку с икрой на джинсы и культурно развлекались. После чего судовой врач, матерясь, натягивал резиновые перчатки и делал половине команды глицериновые инъекции от гонореи и триппера; шанкры лечили народным способом, опуская пострадавший орган непосредственно в китовый жир.

Домой Степан вернулся в марте. И узнал, что ремонтное дело разгромлено. На корню, без пощады. Партнеры сели на разные сроки, покровители уволены. Мелькисаров тут же сбрил моряцкую бороду, спрятал джинсы на дно чемодана, обновил кой-какие связи, слегка приплатил начальству, и стал ассистентом кафедры сопромата в политехе. Зарплата прежняя, сто сорок, десятка сверху за знание иностранного языка (*англ. своб., нем. чит. и перев. со словарем*), семьсот семьдесят аудиторных часов в год, комсомольская работа, упругие, костистые и прочие студентки-аспирантки, подготовка диссертации, безопасная пресная жизнь. Судьбой своих когдатюшних партнеров он предусмотрительно не интересовался; мало ли что может всплыть, береженого бог бережет.

Однажды возле монастыря, где сейчас лежат останки знаменитого старца Федора Кузьмича (его считали царем Александром Первым, тайно бежавшим в Сибирь, спасаться), а в те годы было полное запустение и складская грязь, он столкнулся с женой одного из сидельцев. Маленькая, толстенная, рано постаревшая, та сжалась в комок, как резиновый мячик, поскакала к Степану Абгаровичу, и, на секунду заглянув ему в глаза, самым презрительным образом харкнула. Снизу вверх. Смачно, жирно, обидно. Слюна вперемешку с соплями. Это был урок на всю оставшуюся жизнь: просто так уйти из дела невозможно. Люди все равно решат, что предал, не простят никогда.

Затем явился Горбачев. Сначала Мелькисаров не поверил новой власти, жил исключительно на старые запасы. Но примерно через год решился. Осенью 86-го сбил команду из жадного и наглого молодняка, окопался в комитете комсомола, ринулся в дело. Видеосалоны с допотопной порнографией, о йе, йе, о, о, о, о, хлюп, шлеп, о йе, оборудование для дискотек, компьютеризация школ, контроль за челноками, повальная мода на железные двери, приносившая тысячепроцентный доход... Все было. Кроме простора. Контролировать ларьки, гнать контейнеры с телевизорами и поставлять разбитые праворульные иномарки местным бандитам стало смертельно тошно. Наученный горьким опытом, ранней весной 89-го Мелькисаров пробил информацию через *контору*, убедился, что все прозрачно, хвостов за ним никаких, никого он не подставит, продал все и уехал в Москву.

Через три года стороной узнал, что бывшие друзья-кооператоры потеряли всяческий страх, бросили вызов тюменской нефтянке, и были – все – разорены. Беспощадно, под корень. А штатный трезвенник Джафаров неожиданно утонул в Томи по пьяному делу; пять промилле, смертельная доза.

## 4

Дверь открылась: хозяин толкнул ее лбом, руки были заняты подносом. Говорил нарочито простецки; дескать, видите, ребята, снисхожу; радуйтесь, но не забывайтесь.

– Простите, мужики: насчет закуски полный швах; к жене подруги заходили. Только огурцы, помидоры и яйца. Есть вот банка красной икры, но хлеба нэма.

Майор ответил в том же полународном стиле; дескать, что ж, готовы подыграть, хотя и мы не пальцем деланы.

– Гут, не беда, яичница дело доброе. А икорочку можно и ложкой. Помидорчик на тарелке, солыца на столе? Наливай.

Водка была ледяная, рюмки покрылись снежным мхом. Свежая яичница дымилась, скворчала и пахла деревней. Майор положил бумаги на стол, ласково их разгладил:

– Изучай, Степан Абгарыч. За знакомство.

– Ваше здоровье, – вежливо добавил лейтенант.

Мелькисаров мельком взглянул, презрительно поморщился, помотал головой:

– Со свиданьем. Недоработали, ребята. Нарисовали сто звеньев, нарыли на сорок, а где же еще шестьдесят? Без них цепочка рвется. Будемте здоровы.

## 5

Через три месяца московской жизни Мелькисаров врезал дополнительный замок, через полгода внутренней железной дверью отсек большую комнату в своей квартире и попросил Жанну никогда не спрашивать его, что там. Жанна удивилась, но пообещала, и непременно сдержала бы слово: она вообще была баба сговорчивая. Просто однажды, перед самым переездом на Покровку, заявила в гости к мужу раньше времени. Степан выходил из большой комнаты, распахнул свой Сезам. Жанну чуть не хватил удар. Вдоль стен, от пола и почти до потолка, под некрашеным подоконником, на ободранном кресле, под столом, на столе – повсюду – лежали пачки сторублевок, как маленькие кирпичи серо-стального цвета. В центре денежного склада алел огнетушитель; на единственной свободной стене висел распятый уродец художника Ге. Больше в комнате не было ничего.

Степан посуровел, запер вход, сказал: «Забудь». Она – забыла.

Жизнь опять приобрела масштаб, наэлектризовалась, игра пошла на интерес, приносящий колоссальные деньги: сегодня тысячу, завтра сто, послезавтра миллион. Такое было ощущение, что ты несешься сквозь время нарезной пулей, раскаляясь докрасна от трения встречного воздуха. А дальше что? Какая разница. Пуля не спрашивает, что будет дальше; ее дело лететь со свистом и в конце концов поразить цель, которую наметил незримый стрелок.

## 6

Посмотреть со стороны – все выглядело очень странно. Холодное солнце светило резко, больно. Или это начинала ныть пьяная голова. На окно нанесло мелкого сухого снега и солнце казалось рябым; по подоконнику крошились тени, похожие на просыпанный мак. Бутылка постепенно пустела, грязные тарелки были сдвинуты на край, поближе к мушке ментовского автомата; пепельница наполнялась серым пеплом милицейских сигарет и старомодными бычками папирос.

Шел какой-то странный диалог, постороннему решительно непонятный. Коротких реплик не было, друг на друга накатывали античные монологи, разыгранные по театральным

правилам. Современный человек говорит ровно, без деревенских фиоритур, повышений, понижений, усиления и всплесков; а тут подвыпившие голоса звучали торжественно, интонации были почти актерские, со слезой, иронией, угрозой, презрением.

*Майор.* Вот еще звено, вот еще. Мы опять придем, водки попросим – кстати, наливай, наливай – но цена уже будет другая. Сегодня уступим за четыреста, через месяц скажем: лимон. Не поймем друг друга, не беда, мы терпеливые. А там еще и прокурорские возникнут, ты же от налогов уходил?

*Мелькисаров.* Красиво разводите. Но это все от головы, а не от жизни. Сорок клеточек закрасили, еще десять потом закроете. Повезет, пять-шесть подтянете, подтасуете. И все. В коммуне остановка. Никакой суд в производство не примет. Через месяц объявитесь – будьте счастливы ребята, дай-то бог не последняя – и скажете, ну ладно, брат, уговорил, делаем наш милицейский дисконт ко дню пограничника: триста пятьдесят. И услышите: поздно, братва, рубль укрепляется, акции падают, дам я вам, пожалуй, двести пятьдесят. Прямо щазз. А завтра будет сто.

Майор всосал помидорную мякоть, помолчал, что-то про себя взвесил и внезапно сбил весомый ритм до неприличия быстрым вопросом:

– А зачем же ты вообще тогда платить согласен, если смелый? За что – двести пятьдесят?

– За ваш труд. И за мой покой. Кстати, хороший тост, ты не находишь? Чтобы другие вместо вас не пришли, не начали ныть. Придут – я к вам отправлю. Ты же сам знаешь, майор: в бизнесе лучше не жадничать. Я с судьбой не торгуюсь. Я от судьбы откупаюсь.

– Откупись за четыреста. – Майор уже почти просил.

– Не хнычь, не дам. Ну, за нас, за вас, за золотой запас.

Первый тайм Мелькисаров выиграл. Лейтенант сидел сумрачный, ссутуленный; рюмку брал с отставленным мизинчиком, пил через раз, глоточками. Майор, наоборот, выпивая, запрокидывал голову, тряс брылями. Он начал густо краснеть – краска медленно поднималась от загибка по щекам, захватывала надбровья, постепенно продвигалась к лысине; на лысине выступали капельки пота.

Майор убрал разработку в портфельчик, достал другую объемную папку. По стандартным пролинованным листам расплзались протоколы допросов, заполненные в разное время, разными чернилами и почерками. Витиеватые-четкие буковки (чернильная ручка, фиолетовый цвет) выдавали военного. Округлые и ученические (ручка шариковая, толстые буквы) – старательного мальчика из рабочих. Полуквадратные, с наклоном влево (разумеется, тончайший гель) – садиста, который стал следователем, чтобы не стать маньяком. Но все дознаватели с одинаковой четкостью вели к одному и тому же: Мелькисаров С. А. в составе преступной группы и по умыслу содействовал отмыванию нелегально нажитых средств и нанес ущерб государству и третьим лицам в доказанном размере 120 млн руб. Все протоколы были подписаны; доказательства (реальные и мнимые) подшиты, а графа «Уголовное дело №...» – пуста. согласишься заплатить – погасят, заартачишься – заполнят.

– Что ж так мало? – спросил Мелькисаров. – Могли бы и ярд приписать.

– За ярд – пожизненное. А это, извините, было бы жестоко, – неожиданно включился лейтенант и снова замолчал.

Греческие монологи сменились доминошными пасами. Четыреста – нет, двести пятьдесят. Триста девяносто – да двести пятьдесят же. Ладно, триста семьдесят – двести пятьдесят, сказано вам.

Тупик.

Бутылка закончилась; куда ж ты ее? ставь покойничка под стол, иди за новой.

В самый день легендарного путча они улетали в Женеву: Томский открывал совместный фонд и *запузырил* многодневную гулянку в самом центре кальвинистской аскезы.

Выехали рано, дорога была пустая; день обещал быть жарким, но охристый свет стелился уже по-осеннему плоско, как будто солнце светило не сверху вниз, а вдоль, от горизонта. Не доезжая кольцевой, они притормозили, скатились на обочину: навстречу им тянулась бесконечная колонна бронетранспортеров. Что там радио нам сообщает? Радио нам сообщало, что Горбачев не может исполнять обязанности президента, временно введено чрезвычайное положение, и просьба ко всем советским гражданам соблюдать порядок и спокойствие.

Беременная Жанна мелко задрожала, прижалась к нему, как ребенок: Степа, что теперь будет? мы сможем вернуться? а маму в случае чего забрать? Мелькисаров ничего ей не ответил, погладил по головке, нежно чмокнул в чистый ясный лоб, и завел машину: опоздаем. В Шереметьево отвел в сторонку растерянного Томского, сказал: я остаюсь, а вы летите. Думаю, что к самому концу успею; кое-какие проблемы возникли, но думаю, что разрулю. Томский прикусил пшеничный ус, полуприкрыл свои голубые фельдфебельские глаза, покачал головой, и безнадежно сказал: «Расхлебывай, старик, и прилетай. За Жанну не бойсь». Как будто прозвизгнул последнее прощанье.

Мелькисаров свой билет зарегистрировал, довел жену до красной черты паспортного контроля, и только тут объявил ей, что не летит. Мол, ничего иначе не получится, в случае чего женевские вопросы все равно придется регулировать в Москве. И маму готовить к отъезду. Но эмигрировать, конечно, не придется. Эта байда ненадолго, он чует низом живота.

– И не вздумай плакать, милая. Тебе сейчас нельзя, во-первых. И вызовешь подозрение, во-вторых.

Посмотрел, как Жанна, внутренне сжавшись, но внешне распрямившись, с животом наперевес достойно проходит через линию границы. Развернулся – и поехал в город.

Он и сам не знал, зачем остался. Смысла – ровным счетом ноль. Но не было ни сил, ни желания сопротивляться первому порыву; нужно быть здесь и сейчас, стать частью веселого и злого народа; откажешься – проиграешь. Ставки приняты; ставок больше нет.

Люди фланировали по центру, заговаривали с солдатами, стекались к Белому дому; кто-то ныл под гитару, кто-то кипятил чай; пахло костром; добровольческие девушки раздавали ротапринтные листовки и специальный выпуск «Независимой газеты», отпечатанной на ксероксе. Было в этом что-то счастливое, бивачное, как на съемках кино про народную войну и дворянский мир Двенадцатого года. Будто бы именно здесь, в этой точке, находится сию секунду центр мира, и этот центр тяжело, со скрипом поворачивается вокруг своей оси.

У четвертого подъезда Степана Абгаровича окликнули; сквозь танковую колонну и заслоны защитников протирался маленький седой чиновник, из ближнего ельцинского круга; они пересекались по бизнесу – и в Москве, и на Урале. «Молодец!» – сказал чиновник; «правильный выбор – и вовремя; пойдем, друг». Он повел Мелькисарова в прохладное царство восставшей элиты, где гордо и мощно вышагивал аристократический режиссер Михалков; в углу раскуривал трубку и гнусаво выговаривал помощнице спикер Хасбулатов; вприпрыжку мчался музыкант Ростропович, смачно целуя встречных без разбора; посреди холла, глубоко задумавшись, стоял один из курчатовских, академик Прыжов – неторопливый седой человек, похожий на обедневшего аристократа; в коридоре за канцелярским столом молодая тетка строчила воззвание – и никто ничего не боялся. Атмосфера была вольная, почти веселая. Вдруг все, как по команде, сорвались с места и унеслись в коридор.

– Пойдем, пойдем, – потянул за собой чиновник, – я тебе Борис Николаича покажу.

Двери на балкон были распахнуты; на балконе стоял гигант и что-то энергично говорил; зычный голос срывался вниз, распространялся вширь, звучал невнятно, вдохновенно; повсюду, сколько мог охватить взгляд, были упрямые круглые головы, задранные вверх – как бесконечное поле созревшей редиски, разорвавшей сухую почву и выпроставшейся наружу.

Вечер наступил быстро, незаметно. Можно было остаться в Белом доме на ночь, но зачем? С чиновником они условились попить чайку *после победы*. «А так, заходи, заходи, будь с нами» – и Мелькисаров получил постоянный пропуск. Думал вернуться наутро; но внезапно начался жуткий ливень; на город спустился осенний холод; Степан Абгарович почувствовал резь в животе и металлический привкус на языке. То ли мочевого пузыря воспалился, то ли первый сигнал послал будущий простатит, но и вторую, и третью ночь демократической революции Мелькисаров просидел дома, бегая от радиоприемника к сортиру и обратно.

Люди стояли за свою свободу, власти медленно отползали, по пути проливая напрасную кровь. Страна величаво спала и плохо себе представляла, что там, в этой Москве происходит. Надо было думать о масштабном, а он никак не мог избавиться от мыслей про жжение в канале и боли в промежности; было почему-то стыдно и радостно, как подростку, подглядевшему за взрослыми в спальне. Впрочем, времени он даром не терял; на больших ватманских листах начертил кой-какую схемку; если белодомовские побеждают, а похоже на то, начнется новый перекрой жизни: деньги из республик побегут в Москву, их энергетическая масса выбьет все заслоны, как пробку из бутылки: кто не успел, тот опоздал.

Степан успел. Наступило двадцать первое число; путчисты позорно бежали; можно было улетать.

## 8

Москва захлебывалась в ледяном дожде; августовская Женева плавилась от жары. Рейс был ранний; до приема оставалось время; расцеловав пузатенькую Жанну, Мелькисаров поспешил на Плен-Пале. Он знал, что по субботам здесь большой блошинный рынок; как можно упустить роскошную возможность?

На драных столах под шатрами стояли богатырские утюги с отделением для угля, современная хозяйка не поднимет; были живописно разбросаны медные чаны, между ними – ступки из тяжелых сплавов; соседствовали картавые семисвечники, дворянские канделябры, массивные церковные паникадила, сегодняшнее евангельское чтение и глас осьмый; побитые часы эпохи Веймара и Третьего Рейха – прямые стрелки, четкая цифирь; женские часики с ажурными циферблатами, следы послевоенного кокетства; по углам столов сидели одноглазые фарфоровые куклы со следами росписи на лицах; можно было увидеть кудрявую немецкую гармошку, крутануть шарманку и запустить механическую музыкальную машину – с таинственными дырками на медном диске.

Продавцы вещичек не сердились, что покупатель ускользает; казалось, их единственная цель – стоять на свежем воздухе, среди себе подобных, и сонно наблюдать за ходом внешней жизни. Только букинисты были суетливы. Бродили взад-вперед, как собаки на привязи; то и дело поправляли книжки, нервно ощупывали переплеты. Здесь-то Мелькисарову и повезло. Так повезло, что болезненно заколотилось сердце. Рыжий книжник, лохматый, в оспинах, где-то раздобыл печатные доски – уже непригодные для копий, разохшиеся, насквозь прочерченные краской. И среди амуров и псишей, будуарных дам и их непристойных любовников, монахов со вздернутыми членами и монашек, раздвинувших ложесна, вдруг обнаружилось нечто. Мелкое, погрязшее в деталях, черточки какие-то, выемки, подъемы.

На доске, кругленько подъеденной жучками и по краям тухлявой, был вырезан чертеж незнакомой местности; вот и надписи, но не прочесть... Ба! это же и есть Женева. Вот соборная площадь, вот лак Леман, а вот болото. Только все повернуто наоборот; север на юге, восток на



Западе, право – слева, а слева – право; понятно, почему не читаются надписи. Типографское зеркало, расчет на печать.

– Сколько? – спросил Мелькисаров беззвучно, кивком головы.

– Там написано, – таким же кивком, не говоря ни слова, ответил рыжий.

– Несерьезно, давай настоящую цену, – молча покривился Мелькисаров.

– Ну... сбавь сам, сколько хочешь, – только так и можно было истолковать сморщенные губы и неопределенный жест.

Написано было: 600. Мелькисаров протянул две бумажки по 200.

– Ладно, что с тобой поделаешь, бери.

Так, с доской, завернутой в «Журнал дё Женев», он и заявился на гулянку.

Томский снял второй этаж отеля, целиком; роскошь приема была в глаза. На столах стояли хрустальные бадьи с черной икрой, возлежали безразмерные осетры, похожие на мертвых крокодилов, стыдливо-маленькие местные рыбы – сан-пьер, озерная форель – жались к разлапистым раковинам икряного гребешка; наружу были выворочены неприличные подробности устриц. Все вокруг ими жадно хлюпали, пустые раковины нарастали на огромных блюдах, как черепа на картине Верещагина про мировую войну...

Официанты робко подносили *кавьяр и водка* этим странным русским, так причудливо одетым: грубоватые мужчины в строжайших черных фраках, подвязанные шелковыми поясами, плотные женщины в ярких платьях – зеленых, алых, фиолетовых. В углу сидела девчонка в наикратчайшей юбке, нога на ногу, и самозабвенно пальцами растягивала жвачку. Кто-то взял с собой подружку; законные жены демонстративно брезговали ею, но ничего поделать не могли. Приходилось терпеть и смиряться.

Мелькисарова трепали по плечу, выспрашивали героические детали, которые он щедро привирал; хвалили за пацанскую смелость, но мысленно крутили пальцем у виска. А он с умилением наблюдал, как пузатая Жанна одно за другим уминает роскошные женевские пирожные, крохотные, кукольные; как же она тут боялась, пока его не было!

Пир завершился ночным фейерверком: ухали пушки, снаряд утробно выл и сверкающим сперматозоидом неся в небо; над озером вспыхивали мерцающие круги, синие, алые, жемчужные. Они расширялись, заплывали небо, удваивались в воде, окружали мир безопасным огнем.

Под шумок Степан Абгарович поманил метрдотеля; тот, извиваясь, приблизился. Мелькисаров что-то шепнул, сунул радужную бумажку; метрдотель чмокнул губами, кивнул: сделаем. И не подвел. В самолете Жанна задремала; когда проснулась, Степы рядом не было, он перетирал какую-то тему с Томским. Зато на откидном столике стояло блюдо с кукольными пирожными, прикрытое салфеткой с надписью: «Оплачено». И резким росчерком Мелькисарова.

## 9

В прошлый свой заход он торопился. Схватил икру, помидоры и водку, сразу вернулся к себе. Теперь служители порядка обождут; им нужно поостыть и кое-что обдумать. Вторую бутылку он принесет минут через десять, а пока осмотрится, оценит ситуацию.

Холодильник не просто пуст; судя по всему, совершен гастрономический террор. Жанна вызвонила девочек? Обсудили ситуацию, поплакались, как следует поели, и всем своим раскормленным колхозом отправились по магазинам? Правда, никто не курил, сигаретной нечистью не пахнет, эту смоляную гарь он различает за версту. Значит, отпадает Анна: очень жаль, и с этим нужно будет что-то делать. Бабонька она приятная, надежная, без нее не обойдешься, только дымит паровозом; и как мужики ее терпят? Остаются Томская и Яна; милое дело – шопинг втроем. Прожорливые девушки, ничего не скажешь.

Синий салон безупречно чист; темно-золотыми аксельбантами перехвачены тяжелые, почти ночного цвета шторы; кресла мягкие, основательные – настоящий покой всегда неподвижен; по стенам развешаны эскизы Грабаря, где воздух поет, а жизнь крепка и не знает смерти; безмятежные наброски Пластова и густые портреты Машкова – все это покупки сравнительно недавние, по вкусу Жанны, впрочем, и ему по нраву; на полочке под абажуром артистично выложены тонкие очки, выставлено милое Тёмино фото и брошена толстая книга Людмилы Улицкой.

Спальню Мелькисаров оглядел оперативно. На тумбочке жены – счета за квартиры, химчистку, телефон и Тёмину учебу (этот счет расписан так детально, что от циферок рябит в глазах). Умница, Жанна, контролирует процесс, на обслугу не надеется; что там Ленин говорил про учет и контроль? Но того, что искал Степан Абгарович – не было.

Он выдернул из морозилки обжигающую литровку; от бутылки шел медленный пар. Мелькисаров постоял, перебрасывая бутылку из руки в руку, подумал; что-то вдруг сообразил, и сунул нос в гардеробную. В газетном ящике разрыл кипу газет, журналов, рекламных буклетов; не взяв ничего, поспешил к себе.

## 10

Девятнадцатого августа чартер вылетел из одной страны, двадцать третьего приземлился в другой. Белодомовский чиновник не забыл о встрече; денег и заказов он дать не мог, но жестко отводил угрозы и заранее предупреждал: на днях принимаем указ, приготовься. Степан Абгарович готовился – и часто поспевал к раздаче. Чтобы не ложиться под бандитов, подружился с союзом российских армян. Армянином он был никаким: папочка повел себя не по-армянски: исчез, растворился, следов не оставил; русская мама, Надежда Степановна Сиротинская, вырастила их сама. Но для бизнеса это неважно; для бизнеса важна *прописка*: с кем ты, под кем ты и кто за тобой.

Коллеги, отсидевшиеся за границей, завидовали: не человек, а счетная машинка! фантастическое чутье. Но чем больше становилось денег, тем уверенней мрачнел Мелькисаров. Времена подступали смутные, шла война всех против всех; цена свободы оказалась непомерной...

Ночью 3 октября 1993 года стало страшно не по-детски. Первый канал телевизора замерцал и погас; второй исчез – и вновь включился из резервной студии. Одиноким, отрешенным, припухшим Гайдар звал людей защитить демократию... Это что ж, конец? Мелькисаров вызвал охрану, врубил мигалку, помчался в Кремль. Несколько сот людей бродили возле Моссовета; навесные фонари качались на ветру, свет мотался по трассе, бликовал на домах.

В Кремле было безжизненно тихо; два-три человека промелькнули тенями в коридоре; на вопрос: где хозяин? – никто не ответил. Знакомый чиновник тосковал в своем кабинете, на ельцинском этаже. «Посиди со мной, – сказал чиновник, – я не знаю, что делать». Так они сидели до утра. Коньяк не брал. Часа в четыре позвонили; чиновник вдруг повеселел: американцам позволили ставить камеры и спутниковые передатчики на высотках вокруг Белого дома; наши решились стрелять: спасены!

– Ну, давай два тоста, по полной, до дна, не халтура. За Россию! И – за президента!

После этого ставки Мелькисарова взлетели до небесных высот: не предал, свой. Томский намекал, что обсуждается вопрос, а не пустить ли Мелькисарова в *нефтя*; предлагал кредитоваться у него. При мысли о маленьких скважинах, из которых брызжет маслянистая черная дрянь, становилось сладко, как перед любовью. Уже пошли звонки от нефтегазовых знакомых; уже, прощупывая почву, звали пообедать люди из *конторы* – а можно ли доверять, а не кинет? Ускорялся денежный круговорот; в одном кабинете Мелькисарова встречали, принимали офисный портфельчик, туго набитый свежими купюрами, говорили, куда передвигаться дальше...

Но изо дня в день, как военные сводки, поступали грустные известия. В Омске бесследно исчез Габрилович – вместе со всей своей шагаловской коллекцией; в махачкалинском доме их бывшего посредника Магомадова разорвался снаряд, выпущенный из подствольного гранатомета; приезжая в Москву, Магомадов здоровался теперь обеими руками сразу, сжимая ладонь собеседника холодными протезами. Вдоль старых кладбищ вытянулись новые аллеи; где рядом, как братские могилы, стояли одинаковые плиты – по темно-серому шлифованному мрамору гравирован рисунок, как негатив прощальной фотографии...

Зимой 94-го Мелькисаров позвонил олигарх Березовский. Подтягивайся к «Волговазу», будет разговор; Сильверста позовем, он умный бандит и серьезный; сколько можно гибнуть понапрасну; разрулим ситуацию. На входе Степан Абгарович столкнулся с Томским; они сели рядышком. Напротив развалился юный банкир Ходорковский, упитанный, усатый, похожий на веселого кота; чуть подальше притулился начинающий телемагнат Гусинский – от избытка нервной энергии он все время вертелся, как хулиган-первоклассник, с трудом привыкающий к школе: дернул бы за косичку, да некого; во втором ряду затесался их старый приятель Кацоев, этот напряженно делал вид, что никого не узнает.

Убежденно экая, по-ленински подавшись вперед, Березовский выносил вердикт: хватит крови! да уйдет насилие из крупного бизнеса! да будет в отношениях между своими – мир! Учредим третейский суд; несогласному – бойкот и разорение, но не покушение и не смерть. Нас разводят, как зыйчиков; стравливают, как собак; сколько можно! Солидный и спокойный Сильверст кивнул: согласен. Тут же всем раздали договор – короткий, четкий, без деталей; на обороте каждый поставил условный значок: без фамилии, но собственноручно. Зал зашумел, развеселился; Гусинский злорадно поставил крест и съязвил насчет еврейского конгресса; в ответ Усманов нарисовал шестиугольную звезду – и показал Гусинскому язык; Ходорковский, чуть покачивая головой, важно начертил квадратуру круга. Томский сиял: перспективочка! Уморительно рассказывал, что старенькая мама стала каждый вечер заказывать машину и охрану; он робко спросил: а зачем? оказалось, мама занимает ночью очередь и утром покупает акции какой-то пирамиды, надеется разбогатеть: кто знает, как жизнь повернется?... Один Кацоев воздержался. Без протеста или возражений. Просто брезгливо поморщился и молча в суматохе удалился.

А Мельксаров, только утром прилетевший из Петропавловска и готовый впасть в прострацию от недосыпа, вдруг почувствовал запах мерзлой могилы. Лица Березовского, Сильверста и компании отсвечивали чем-то болотным, синеватым, неживым... Он не был мистиком; он просто был человеком предчувствий. Что-то кольнуло, щелкнуло: не ходи, голову сломишь. И – не пошел. Подавил в себе мечту о нефтяном фонтанчике, списал в убытки все, что роздал по пути к отменившейся цели, продал крупные проекты, раздробил масштабные кампании, разверстался вширь и стал середняком. Отказался от охраны, перестал менять машины каждые полгода: скромнее, скромнее, нечего светиться.

Вскоре Сильверст погиб. Мчался ранним утром в Нижний, на совет директоров. Оставалось километров сорок; холодное крепкое солнце белело на синем фоне; Волга смирно лежала подо льдом. На мосту внезапно потерял управление встречный КАМАЗ: многотонную платформу развернуло; бронированный «БМВ» носом протаранил арматуру, застрял в грузовике, двойным ударом они смели парапеты и рухнули на дно, раздробив ледяную толщу; водителя КАМАЗа не нашли.

Еще через месяц телевизор показал, как растерянный Березовский смотрит на остатки своего разорванного «Мерседеса», а вскоре началась чеченская война.

## 11

Пока хозяин ходил за бутылкой, лейтенант, переменившийся в лице, отчитывал майора – и больше не выкал: старый ты дурак, пень трухлявый, ухвертка; держи удар, не канючь, и больше ни шагу назад. Не справишься – переведу на Петровку, лишу земли и корма, будешь на одну зарплату жить. Майор понуро слушал и готовился принять к исполнению: бу как штык, так точно, все понял, начальник.

Но Мелькисаров принес не только водку; он принес нераспечатанную колоду и предложил простое решение: сыграть в преферанс по доллару, граница – сорок взяток. Кто выиграет, того и цена – плюс к ней записанная пуля. Майор обрадовался, потянулся к колоде; лейтенант отвел его руку и спокойно сказал: сдавать буду я, а ты посидишь и посмотришь.

– Вы согласны, Мелькисаров?

– Легко, – кивнул Степан Абгарович, – тогда на болвана в открытую.

И весело поглядел на майора. Лейтенант подавил встречную усмешку.

Они с лейтенантом раскрыли карты, быстро оценили взаимные шансы, молча начали метать. В итоге вистовал Мелькисаров; майор переводил взгляд с невероятно трезвого хозяина на еще более трезвого лейтенанта, наливал, закусывал, и норовил поговорить. Он спрашивал старлея: а мы играем в курочку или в котел? И слышал в ответ: пас. Он обращался к Мелькисарову: а схему эту вот, на планшете, кто нарисовал? И наткнулся на глухое: ремиз. Изредка хозяин с лейтенантом, не сговариваясь, клали карты на стол рубашками вверх, чокались, закусывали последним помидором, порезанным на мелкие кусочки. И продолжали игру – холодно, зло. К тузу сам пять. К королю прикупа нет, осади!

Наконец, все взятки вышли; игроки посчитали баланс, записали в гору, лейтенант протянул Мелькисарову руку: уважаю, отлично играешь, заслуженная пуля. Жаль, не серебряная. – Степан Абгарович деланно расхохотался.

– Будем считать, что все у нас обстаканилось?

– Будем считать.

Теперь можно было и выпить спокойно, без напряжения, и позволить себе слегка опьянеть. Бутылка на солнце оттаяла; на столе растекалась приятная лужица; разговор тек неторопливо о том, о сем: а как у вас принято? да? у нас не так. Майор совершенно обмяк, по-детски размазал лужицу пальцем.

Разговор был исчерпан. Пора закругляться.

## 11

Первые большие деньги Мелькисаров заработал в школе. И впервые обанкротился – тогда же. Пятый класс, вторая четверть; сухой, трескучий томский снег; игра в трясушку на коротких переменах. Холодная тяжесть монеток; никакие будущие миллионы не сравнятся с восторгом первого обладания. Двушки, пяточки (а потом и гривенники, и пяташки) сдавали водящему; тот лихорадочно звенел и лязгал медяками, театрально взбрасывал руки вверх, опускал, пригибаясь, вниз, по-цыгански отводил влево, вправо, пока не раздавалось: стоп! Орел. Или: стоп! Решка.

Ведущий медленно сдвигает верхнюю ладонь, умело треплет нервы. Над его руками, лоб в лоб, висят игроки и свидетели, всем интересно, как там и что. Монетки давно согрелись, покрылись жадным потом, липнут. Три орла, одна решка; чтоб тебя! Сердце падает, но виду показать нельзя, удача не любит слабых. Играем дальше, ставь двадцарик! Счастливчик отказать не может, не имеет права первым выйти из игры, битва идет до последней денежки про-

игравшего. Двадцать плюс двадцать копеек... сорок плюс сорок: за месяц сэкономлено на завтраках...

Решка! Нет, орел. Звонок, перемена окончена: крах. Продулся вчистую, осталась дырка от бублика.

Поздним вечером Степа прокрался в коридор; на кухне мама, накинув серый пуховый платок, проверяла тетради. Спина согнута, плечи жалостно сжаты, поводит лопатками, как будто бы дует сквозняк. Но сейчас не до мамы, не до ее лопаток; завтра надо отыгаться. Карманы потертой шубы – из грубого полотна, даже царапаются изнутри; на дне скомканный носовой платок, должно быть, сопливый, фу; чуть не звякнули предательские ключи; а вот и медная мелочь, полная горсть. Степа взял не все, чтоб не попасться сразу; скользнул в кровать, отмахнулся от братца и тихо спрятал деньги в тапок, а тапочек задвинул под диван. Руки предательски пахли латуњью, он долго оттирал их о простыню; в конце концов простыня сама запахла двушками и пятачками.

Утром он до школы не дошел. Засел в кинозале. Утренний сеанс, за десять копеек, потом дневной, пятнашка. Как только гасили свет, в зале раздавался перезвон. Он играл сам с собой, упрямо себя обыгрывал и жестоко себе проигрывал; неужели нет никакого секрета, тайного правила, физического закона удачи? Ничего не обнаружилось. Кроме очень удобных складок на ладони, в которые сами собой западали монеты; медленно сдвигая руку, можно было успеть прикинуть число орлов и решек и развернуть зажатые ребром денежки в нужную сторону: вот он, залог победы. Монеток, правда, маловато; для хорошего рывка нужно было добавить еще.

В пятницу их класс был дежурным по школе. Степа попросился стоять у входных дверей. Первый урок. В рекреации тишина. Он нырнул в раздевалку, на четвереньках, по-обезьяньи ловко прошелся вдоль карманов. Пусто, пусто, пусто, звяк! Пять копеек на автобус, двушка для телефона-автомата, три копейки просто так завалялись. Дальше крадемся. Пусто! А вот уже звяк. И снова звяк. Скорее, скорее. Хватит. И вот он образцово стоит у входных дверей, поджилки дрожат, но видок что надо: пионерский галстук поглажен, косой пробор расчесан, юный ленинец на вверенном посту.

На перемене Степа отозвал водящего, потребовал отыгрыша. Опытный жухало мог отказаться, правила позволяли, но зачем? добыча сама просилась в руки. Ухмыльнулся: давай, если денег не жалко.

– Только трясти буду я.

– Тряси, – было сказано вслух, а про себя добавлено: – лох.

На второй перемене в мужской туалет потянулся народ. На третьей наметилось столпотворение. На четвертой пробиться к унитазам было невозможно, толпа любопытных стояла на цыпочках. Монеты не умещалась в горсти, хотя игроки давно поменяли мелочь на полтинники. Вчерашний водящий, белый от злости, отчаянно занимал у всех вокруг остатки денег, чтобы отыгаться; последний раунд большой игры назначили на после уроков. И тут уж кто кого, без вариантов и без продолжения. Пять рублей на пять рублей. Победитель получает десять. Полгорода можно скупить.

Отзвенел звонок, уроки кончились; Степан входил в сортир как суровый ковбой из фильма «Золото Маккены». В этом фильме красивая женщина купалась в водопаде совершенно голой; она была прекрасна, хотелось ее укусить и понюхать запах холодной кожи; они смотрели «Золото» по три-четыре раза, подкупая билитеров, потому что – детям до шестнадцати.

Степа знал, что выиграет. Знание делало его непобедимым; никто не сомневался: этот – сможет. Не только малышня, но даже старшеклассники уважительно расступались. Лениво снял мышино-серый пиджачок, почти не глядя сунул подержать четвероклашке; тот благоговейно принял: ему позволили постоять совсем рядом, никто не посмеет теперь отпихнуть.

Бывший водящий, бывший богач, бывший крутой, просто – *бывший* неуверенно отсчитал десять полтин, поставил столбиком на подоконник. Степа рядом соорудил свой серебристый столбец. Решили трясти символически, пятаками; шансы пятьдесят на пятьдесят, кому повезет, тот сгребет с подоконника все.

Орел! – сказал бывший. Орел-решка! – предъявил Степан.

Решка! – Нет, решка-орел!

Орел!

Решка.

Ууух! выдохнули наблюдатели. Десятка – его. Банкир Рокфеллер, заводчик Демидов, Скупой Рыцарь, Чичиков: Мелькисаров! В животе заурчало счастье. Сердце покрылось газированными пузырьками, стало сказочно легко на душе. Завтра он поедет на каток, возьмет на прокат настоящие спортивные гаги, олимпийски изогнется, левую руку за спину, правой красивый отмах, и станет нарезать за кругом круг, ловя восхищенные взгляды фигуристок в рейтузах с начесом, а потом пойдет в буфет и закажет два бутерброда с настоящей копченой колбасой, из-под прилавка, стоит дорого, запах умопомрачительный.

И тут же стало очень тяжело и невесело. Потому что в туалет вошел директор. А в учительской ждала мама. Куталась в единственный свой платок и тихо плакала.

Вечером в субботу он гулял во дворе, совершенно один. Дома с ним никто не разговаривал, вчерашние поклонники презирали, денег не было ни копейки, педсовет назначили на понедельник. Разгонялся по ледяной дорожке, вздымал клюшкой тяжелую резиновую шайбу, злобно вбивал ее в мусорный бак, и снова, и снова. Тупо и однообразно.

Из темноты появились четверо: бывший водящий и его пацаны.

Били долго и молча.

Двое держали, двое лупили. Под дых, в нос, в глаз, ниже пояса, в зубы. Кровь смешалась с густыми слюнями и крошками зубной эмали. К его мокрому губам они прижали жестяную банку; при минус двадцати кислое железо пристало намертво.

Воткнули головой в сугроб и ушли.

Урок был преподан хороший, не забудется. Сразу все – и сразу ничего. Соленые ошметки кожи на губах. У других, похоже, такого опыта не было; они кайфовали. По центральным улицам гарцевали кавалькады черных джипов, у дорогих французских ресторанов стояли вылинные «Бентли», Москва превращалась в наркотический восточный город; сытый, самодовольный, ночной. Сорокалетние сверстники Мелькисарова поделили страну и расслабились; отрастили животы навывпуск; вокруг сновали стайки острозубых девок, шлейфами вихрились сонмы приживал, допущенных к диванчикам вип-зоны. Из тени обычного зала злобно посверкивали взгляды молодых волчат: успешные, но не успевшие к большому переделу, состоятельные, но не до конца состоявшиеся, они обросли своими стайками, своими прилипами. А за ними был и третий круг: безбедные. И четвертый: при деньгах. И пятый: просто обеспеченные; дым пожиже, изба пониже; Шахерезада со скидкой.

Летом 97-го в моду вошел плакат. Свежайшая кетовая икра, крупная, алая – надави зубом, вытечет клейкий сок. А по ней черной икрой, белужьей, выведено по-ученически округло: «Жизнь удалась». Плакат висел повсюду. Заходишь к Томскому – отдельный лифт, стеклянный бункер, три уровня защиты – плакат наклеен на стену комнаты отдыха. Спускаешься к девочкам-бухгалтерам в собственном офисе – кипы бумажек, электрический чайник, жирный столетник, рядом с фотографиями кошек – «Жизнь удалась». И в модном баре за спиной бармена. И в витрине книжного магазина на главной столичной улице. И даже у начальника ГАИ в приемной.

Жанка притащила плакат домой:

– Смотри, какая хохма!

Степан свернул плакат и легонько стукнул жену по башке:

– Чтоб я больше такого не видел. Нечего расслабляться.

И пошел к себе, считать доходность казначейских обязательств. Получалась странная картина. Впереди – никаких препятствий для роста, графики похожи на желоб бобслея, развернутый от земли к небу: лети без остановки, охая на поворотах, земного притяжения больше нет; здравствуй, прибыль; почва, прощай! Не вкладывать глупо, но и вкладывать невозможно. Нету пути назад, только вперед и вверх. Но что за следующим поворотом? В какой момент оборвется желоб, и разогнавшийся боб улетит в никуда? Неизвестно. Но точно что улетит. На подоконнике выставлен приз, над унитазом идет трясучка, деньги размножаются делением, но вот-вот скрипнет дверь и в проеме возникнет директор. Здравствуйте, товарищи. Что тут у вас? Пройдемтека-сь в мой кабинет.

Так что – стоп. Эту взятку он не возьмет и будет играть в мизёр.

К зиме все облигации были слиты, совместный банчок полуподарен, полупродан партнерам, у них же взят огромный рублевый кредит – и переведен в доллары. В августе девяносто восьмого грянул кризис, восемнадцатого числа позвонил Томский. Он был единственный из карликовых олигархов, кто все еще сидел в Москве: самолет не выпускали таможенники; их счета зависли в его банках. Томскому было грустно. А Мелькисарову весело: он со смехом погасил кредит, подешевевший в четыре раза, стал скупать, как на магазинной распродаже, целые этажи в недостроенных зданиях, подхватывал птицефермы: на родных курей появился спрос...

Но. Все это у него уже было. В других масштабах, но – было. Он уже скупал, подгрёбал, жадничал. Разруливал, проскакивал, копил. Что впереди? еще полшага вверх, боковой обход, выигрыш, временная сдача, обскок противника, удар? Смертельная скука? Как разогретый парафин во время косметической операции, она растекается под кожей, терпко вяжет кровь, насыщает тупость, неподвижность, пустоту. Потом отвердевает, стынет, начинается боль.

А еще он почувал соленый воздух. Как будто большая волна несется из сердцевины моря, а беспечный берег про это не знает. Откуда надвигается беда? Неясно. Когда обрушится? Пойди пойми. Но будет что-то нехорошее, неудобное. И Мелькисаров начал методично, неспешно продавать и дробить свои средние бизнесы, перебрасывая деньги на Нью-Йоркскую и Лондонскую биржи. Дома инвестировал в короткие проекты; быстро вошел, быстро вышел, быстро перевел. Вошел – вышел – перевел. И опять.

Но бизнес как подержанная вещь; продаешь – изволь пропылесосить. Как только проносятся слух о продаже, раздаются звонки и звоночки. Ало-ало. Есть темка, надо встретиться. Заводи их на меня, обсудим цену вопроса. Лейтенант и майор были всего лишь посредники; реальные заказчики на связь не выходили.

## 12

Самолично распахнув входную дверь, хозяин как бы пьяно сказал майору:

– А знаешь, кто ведет баранов на убой?

– Не знаю, нет.

– Козел их ведет. Они за ним покорно тащатся, блеют... А он их – на скотобойню. Как ты думаешь, почему он у них в авторитете?

– Я не в теме.

– А я так думаю, рогами взял.

Майор задумался. Мелькисаров слегка подтолкнул его в спину: давай, давай, до встречи, – и почти трезво прошептал старлею на ухо:

– Утверждаете результат, товарищ начальник?

– В общем и целом.

Старлей даже не удивился тому, что его раскусили. Четкий парень, будет из него толк.

- Молодец, лейтенант. Телефончик оставь. Вдруг пригодится.
- Пишите, Степан Абгарович.

### 13

День, по существу, пропал. Часы показывали три; скоро наступят тяжелые январские сумерки; а ведь надо еще полежать, протрезветь. Мелькисаров посмотрел прищуренным взглядом на оранжевое, летнее семейство – Пастернак висел у него в кабинете, почти во всю стену. Прикрыл глаза, тут же открыл, а было уже шесть, темнота, головная боль. Теперь понятны чувства Гарика, когда он пьяно просыпался в Томске, между Репиным и Левитаном. Марш в спортзал, бороться за бессмысленное существование.

Перед выходом из дому Мелькисаров проверил почтовый ящик, вытащил письма; по склейке гаишного конверта провел длинным ногтем (специально отращивал на левом мизинце, шиковал). Распотрошил конверт, вытащил фотографию, сощурился – и разорвал в клочки.



## Третья глава

### 1

У Грибоедова тусила молодежь. Длинные пальто и куртки угольного цвета, кожаные юбки до полу, волосы и брови как воронье крыло, глухие рюкзаки без надписей, уши троекратно окольцованы, ноздри в мелком пирсинге, как в полипах. Кто не знает, решит – сатанисты. А это несчастные готы, поклонники средневековья; она встречает их тут каждый день, некоторых узнает и здоровается. Они, застенчиво погогатывая, отвечают. Жанна смотрит на них с умилением, потому что думает – про Тёму. Бестолковые мальчики в прыщах хорохорятся, жирнобокие девочки превращают уродство в стиль; даст Бог, найдут себе тут пару, сойдутся, прикипят, поженятся, отмоются, детишек заведут и будут счастливы, пока не станут несчастны, как стала несчастна она.

Зачем ей Степа? Зачем ей вообще – мужчина? Для секса, прости ее грешную? Можно прожить и без секса; киношники-писатели навели тень на плетень, внушили, будто все вращается вокруг этого дела; глупость. Приятно, иногда необходимо, но не более того. Чтоб сделал ребеночка? Один ребеночек у нее уже есть, а другого не будет, поздно; так хочется еще хоть раз понянчиться с уютным комком человеческой плоти, потетешкаться, вжаться губами в сладкий живот и рыхлые складочки, поскрести шелудивую корочку на голове, ощутить опасное бие-ние родничка, принюхаться к запаху прелой пшеницы на затылке и за ушами, обнять, согреть, упиться незаслуженным счастьем, – но придется обождать внучков. А для внуков Абгарыч не нужен. Для жизненного интереса? для общения? Ну да, когда-то было так; теперь иначе. Она его видит редко, а он ее, пожалуй, еще реже: запросто может быть рядом, а мыслями далеко. Низачем, низачем, низачем.

Но если низачем, то почему так больно? Привязанность? Срослась? Привычка? Почему ноги сами несут на улицу, заставляют брести кривыми чистопрудными дворами, мимо посольств и театриков, забегаловок и роскошных кафе, советских продуктовых, пахнущих лежалой рыбой, сияющих банковских офисов, и опять по той же траектории, и снова, снова, лишь бы не остаться дома, наедине с надоевшей – собой?

Года три назад она внезапно обнаружила, что разговаривает вслух. Не распевает песни в душе, не декламирует любимые стихи, как декламировал их папа, геодезический полковник Рябоконь, разгоняя ледяную воду жесткой губкой: «Любовь! – не вздохи – на – скамейке! – и не – прогулки – под луной!!!», а по-старушечьи бормочет, мелко подбирая губы и передразнивая собеседника: аах, выы вот тааак... вот вы кааакие... В тот момент она стояла перед зеркалом и привычно разминала кожу под глазами; вдруг как будто бы со стороны услышала свой собственный голос: нет, Жанна, нет, подумай хорошенько, и поймешь! Перепугалась, очнулась, увидела перед собой чужую тетку с перекошенным лицом: кривляется, как маленькая обезьянка, взгляд пустой, нездешний; сомнамбула... Поклялась, что больше никогда, никогда! а через несколько дней осознала, что резко выворачивает руль, и почти кричит – не о дороге, не об этой скотине на «Волге», а о том, что грустно, грустно, тоскааа! И кричит не себе, а Степану. Который снова неизвестно где – и без нее.

Вчера, как это бывает при высокой температуре, время и тянулось, и несло. Утро не кончалось, не кончалось, и сразу обернулось вечером; казалось, только что достала фото из конверта, а вот уже сидит в кафе и плачется девчонкам. Как раз по вторникам у них лекторий при спортивном клубе; послушали профессора Петровича про современное искусство (он их любимец, такой текучий и уклончивый, не то, что их прямолинейные мужья). Потом остались и попили кофе.

Девочки слышали про фотографию, охнули, засыпали советами. Яна призывала: затаиться! Ничего не знаю, ничего не происходит, Степочка, иди ко мне... Ну, затаится она, оттянет неизбежное, а дальше? Однажды Степа заглянет на кухню, сумрачно, бездушно покивает на ее словесные наскоки, и вдруг объявит: ну все, я пошел. В том смысле, что вообще – пошел. Спасибо за совместно прожитые годы. Таня Томская осторожно предлагала – в церковь. Но Степа – не Томский; что ему до батюшкиных поучений. Аня Коломиец твердо заявила: адвокат. И, пожалуйста, без промедлений. Степан Абгарович мужчина умный, твердый; ничего на себя не записывал: лишняя подпись – лишний срок; дойдет до развода, получишь квартиру, одну из двух; и машину, тоже одну из двух; тысяч сто наличными – напополам. А все остальное – она подгребет.

– Ой, Абгарыч, милый, ты откуда взялся? Позанимался уже? А мы тут болтаем о женском. – Янка сидела лицом ко входу в клуб, первой заметила Степана, немедленно задвинула ноги поглубже под стул: при росте сто шестьдесят шесть сантиметров размер стопы у нее был сорок пятый, она жутко этого стеснялась.

– Да уж вижу. И хорошо, что не слышу.

Степан поставил спортивную сумку, оглядел подруг. Жанне очень не понравилось, как он посмотрел на Аню, и особенно – как та взглянула на него. Взаимно, испытующе, заинтересованно. Только без подмигивания. Или это помешательство от ревности, пора показаться врачу?

Ночью она заставила себя увлечься, приманила Степочку; он смешно старался и потел, она поддавалась нежно; он даже на двадцать минут уснул, нарушив все свои гадкие правила. Лежал беспечный, умилительно всхрапывал; вертикальные морщины на щеках разгладились, волосы у корней слегка взмокли, хотелось потрепать его, как любимого бестолкового пса. На секунду вспыхнула надежда: Степа заснул глубоко, до утра; хоть что-то в их устоявшейся жизни будет впервые, появится новая точка отсчета. Но нет, содрогнулся всем телом, судорожно вздохнул, рывком сел на кровати.

– Странный сон. Мы откуда-то летим с пересадкой: то ли Куба, то ли Австралия, может, Южная Африка. Садимся на какой-то остров, взлетная полоса – посреди бассейна, поднимается пар, как ранней зимой на реке, но при этом жуткая жара, все сизое; несколько человек плывут не пойми куда, мы тоже ныряем, а что дальше – не помню... Пойду я, Рябokonь, спокойной ночи.

Чмокнул в щечку, сунул ноги в мягкие туфли, натянул халат, погасил ночник, и был таков. Так что Янин рецепт не сработал. Тогда она задумалась об адвокате; ворочалась, засыпала, тут же просыпалась; утром не смогла избавиться от тягучих мыслей. Налипли и размазались, как жвачка по ворсистой ткани; не соскрести. Ну да, в семейной жизни Аня ничего не понимает. Все ее мужики – по одному лекалу; подкатывает мачо на «Феррари», весь из себя, и остров у него на Карибах, и тусы затевает ого-го: пентхаус затемнен, по углам обнаженные девушки с плашками живого огня, со всех сторон в прозрачных стенах – замеченная снегом Москва, сине-желтая, густая. Пускает пыль в глаза, сорит деньгами; через полгода – залег на диван; в одной руке Толстой, в другой Аксёнов; в чем же смысл жизни, любимая? В тебе, дорогой... Ну, иди, поработай, а я почитаю. Но если Аня все же угадала? И пипетка, сикиль-дьявка, кочевьяшка начинает обкаладывать справа, снизу, сверху, пеленать желанием, опутывать нежностью, пропитывать умилением, проникать во все поры, бычий цепень, глиста, паразитка, пиранья. И – совсем как та, единственная, с которой он нарушил – хочет угнездиться еще глубже, влезть в его мысли и планы, перенаправить их изнутри, как будто он сам так решил. А где у нас тут, Степочка, финансы? А вот Тёмочкину сколько мы оставим? А этой – твоей – сколько? А мне ты дашь поуправлять немножко? Нет, ну правда-правда немножко? дашь? дашь, скажи? сейчас, сейчас скажи! как же я тебя лю, ты хороший! И лет через пять, через семь, через десять, всем до конца овладев и все из него выев, спокойно и насмешливо поды-

тожит: спасибо, Мелькисаров, за науку. Что-то я тебе оставила, не пропадешь. А мне пора. Засиделась я. Не скучай.

Нет. Не дождется. Будем звонить Соломону. Спасать и себя, и Степана. Забельский, Забельский; где его телефон?

Она стояла на углу Покровки и бульвара; раздраженно звякал трамвай, которому загородили путь бокастые тойоты; прохожие толклись вокруг нее, чиркали одеждой об одежду, а Жанна не сдвигалась с места и упрямо искала в телефонной книге, на какую букву записала Соломона. На «З» – Забельский? Или все-таки «А» – адвокат? Не смогла припомнить, стала щелкать все подряд, по алфавиту, и уже дошла до буквы «Э», когда почувствовала мерзкий запах мокрого лежалого сукна и застоявшейся мочи; тут же проявился хриплый голос:

– Баришня, дай десять рублей на бухало, плз.

Она оторвала взгляд от экранчика; по-цирковому выгнувшись, из-за ее плеча выглядывал какой-то алконавт. Как старый змей, оплетающий дерево. Глаза разноцветные, пестренькие; пытается смотреть подобострастно.

– Не дам.

– А почему?

– Потому что.

– Что, на хлебушек не хватает? – подколот алконавт и распрямился.

Жанна отмахнулась, по случайности нажала кнопку со стрелкой, и сместилась на букву «Ю». Да конечно же! *Юрист Забел*.

Как вовремя они с ним познакомились! В декабре, незадолго до Нового Года. Степа со смехом представил: главный русский человек, Соломон Израилевич. Раньше брошенные жены шли в партбюро, проливали слезы; теперь к нему. Спаси, кормилец, защити. Забельский жеманно улыбнулся:

– Сегодня, говорят, большой церковный праздник, Нечаянная Радость. Что бы оно означало, вы не в курсе?

Жанна не знала; Таня рассказала про разбойника, который молился Богородице, молился, а потом, не чаявши, раскаялся, все бросил, стал святым.

– А. Понятно. Значит, не про нас.

На прощание Забельский подарил тогда Жанне визитку со своим рисованным портретом: к вашим услугам, мадам! желаю, чтоб не пригодилась, но лучше вбейте сразу в телефон...

Соломон удивился не звонку, а шуму в трубке. О! вы – по улицам – пешком? и правильно! здоровый образ жизни. Стало слышно, как деловито щелкает компьютер. Забельский прошерстил календарь, нашел окошко: второго, в одиннадцать тридцать, у него на даче, сразу за Николиной горой, третий поворот направо.

## 2

Дороги были, к удивлению, свободны; Жанна приехала рано. Секретарь, молодой дородный мужчина с мягкими румяными щеками и певучим выговором проводил ее в кабинет, попросил немного подождать: хозяин на лыжной прогулке.

Массивный стол барбчного стиля раздвигал комнату по диагонали. Для гостей имелся кожаный диванчик, приятно прошитый золотым шнуром; в углу стояло вальяжное кресло. Повсюду висели эстампы: кони, лошади, лошадки, жеребцы, пони, молодцеватые жокеи в круглых шапочках, прекрасные нагие наездники. Всю стену за столом занимал книжный шкаф в глухом английском стиле, искусно состаренный, но явно что недавний; корешки все больше тисненые померкшим золотом.

Безразмерное окно выходило на лесную сторону. День был солнечный, сухой, по-февральски ветреный; с огромных елей сдувало снег, он сутился в воздухе, искрил. Из оврага

вынырнул Забельский, пузо перекатывалось, как водяной пузырь; за ним катил субтильный помощник, с бобровой шубой в руках; шуба перевешивала, помощник переваливался с лыжи на лыжу, пытаясь посильней оттолкнуться без палок и не отстать; за помощником неуклюже пробиралась сквозь толстый снег московская сторожевая.

В одиннадцать тридцать Забельский вошел в кабинет: только что из душа, свежий, в шелковом синем халате поверх пышной белой рубашки. Жанна ощутила нежный, обманчивый запах «нильской воды» от Hermes – и насторожилась, почти испугалась. Что за женский запах? в доме Соломона? а, так это же от самого... Церемонно поцеловал ручку, усадил на диванчик, сам светски расположился в кресле, стал расспрашивать о подробностях дела – с типичной интонацией сочувственно-равнодушного доктора: ну-с, на что жалуемся?

Жанна рассказала – на что. Тон чуть поменялся, стал посуше, без игривости.

– Фотографию, конечно же, не сохранили?

– Я растерялась.

Забельский сосредоточился, понимающе кивнул: не беда, все равно не улика. И вообще. Кто сказал, что речь идет об измене, причем об измене со взломом, с тайным умыслом? Почему такое подозрение?

Жанна объяснила – почему. Соломон окончательно переменялся; весь ушел в работу, как собака вся уходит в нюх, едва заслышав запах зверя. Клиента анкетировали; быстро, не давая расслабиться, опутывали сеткой вопросов; только что не допрашивали. Брачного контракта нет? Понятно; союз давнишний, советский; какие там были контракты. На нет и суда нет. На кого счета? Квартиры? А машины? Как же так; вот это надо выяснить. Данные об оффшорах. На кого записаны активы. Конкуренты Степана Абгаровича подъезжали? намекали на измену, предлагали помочь? Хорошо. Ребенку сколько лет? С кем останется в случае, если? Ясно. Теперь поговорим о личном. В чем ваш пикейный интерес? Максимально выгодный развод? Удержание контрагента? Короткий поводок?

– Не знаю.

– Напрасно; без этого – куда ж? Решите к следующему свиданию.

Забельский уже восседал за столом, вразлет писал шифферовской ручкой, сине-серебристой, как ночное небо в звездах; только что напоминал киношного доктора, и сразу превратился в настоящего врача, увлеченного историей болезни.

– Так. Вот вам телефон моего партнера, Ивана Ухтомского. Ударение на первом слоге, от слова «ух ты!». Ухтомский. Работаю только с ним; никаких других агентов-детективов, извините.

Свистящий росчерк на бумаге. Как будто выписал рецепт.

– Встречайтесь как можно скорее. Допустим, послезавтра, четвертого. Свои, отдельные деньги у вас имеются? Отлично; он недешев. Иван раскинет сеть, составит, так сказать, портфолио измены. Если дело дойдет до суда, без этого не обойтись. Если дойдет. Далее. Проверьте сами все, что сможете: в бумагах, файлах, книгах мужа. Копируйте, но осторожно, не рискуйте. Больше ни во что не мешайтесь. И никакой самостоятельности! не вздумайте снимать его на фото или записывать на диктофон без нашего участия, ни-ни: Степан Абгарыч тот еще жук, поймает, сомнет игру. Ведите себя как вели; не знаю, какие там у вас отношения дома, но, прошу, мадам, без перемен: ссорились, значит, ссорьтесь, миловались, значит, милуйтесь, рисунок поведения не менять. Никого в процесс не посвящайте; если это условие будет нарушено – простите, я из партии выйду сразу и первоначальный взнос не верну.

Сбавил темп, откинулся на спинку стула, вернул сладко-хитрое выражение лица:

– Что ж; давайте обсудим главное: мои условия.

С делами было покончено. Забельский предложил выпить: двенадцать уже есть. Открыл одну из книжных створок: оказалось, это роскошная подделка, а за дверцей фальшивого шкафа – настоящий бар. Налил себе драгоценного виски, Жанне хорошего порто, с удовольствием

плюхнулся в кресло: оно послушно продавилось и слегка вздохнуло; серебристым пробойником взрезал сигару, погрел ее жилистое тело спичкой, втянул огонь и выпустил кольцами дым. Запахло копченым, коньячным, древесным; то, как Забельский обхватывал сигару толстым пальцем в перстнях, почему-то выглядело не совсем прилично, Жанна даже смутилась.

Соломон самозабвенно философствовал. Семейный союз на сломе эпох – самое уязвимое, самое ломкое вещество. В сторону – мелочи: соблазны шальных денег, помутнение голодного разума; это не тот случай. *Дым вылетал клубами из ноздрей.* И все же. Все же. Люди начинают путь из общей точки, движутся по общей траектории. У него свой опыт, у нее свой, но опыты соотносимы, равномерны. *Дым распространялся вишрь, прикрывал лицо собеседника прозрачной завесой.* И вдруг, на тебе, книга перемен. Его несет в одном направлении, ее в другом, он вовлечен в переделку жизни, она зациклена на быте, и непоправимо отстает. Ему с ней неинтересно, ей с ним непонятно. Пять лет оба терпят; на шестой уже не знают, о чем бы им поговорить; через десять хочется тупую собеседницу убить, злобного хама – прирезать. Через пятнадцать прирезают. Иногда. Но чаще расстаются. *Ноздреватый пепел нарастал и не падал, в сердцевине сигары мерцал огонь.* А если он – не у дел, а она – в потоке? О! гораздо хуже. Мужская зависть, женская истерика. Она с недоумением смотрит на него, он на нее. И с этим я ходила-миловалась? И эту я ласкал, дрожа от страсти? Тут еще и возраст подступает, обычное дело, разные темпы старения, смерть либидо, утрата свежести, неутоленное желание; впрочем, это как раз поправимо, способ известен, отработан веками: не слишком нравственно, зато о-о-очень жизненно. Главное, не попадаться. А того, что личность подменили по пути – ничем не поправишь, как не остановишь рост переродившейся клетки.

Но вот что интересно и, если вам угодно, утешительно. Брачные дела, в отличие от рака, хорошо лечить на поздних стадиях; чем больше метастаз, тем операбельней. Проскочили опасный рубеж, продержались, и может начаться новый процесс: как бы повторное знакомство, как бы измененная форма прежнего союза. Ты совсем другая? Хооосподи, как интересно. Ты из чужого теста? Ну-ка попробуем. Забавный вкус. Давай дружить? Так что у вас еще легкий случай; глядишь, и устроим все наилучшим образом, помирим, успокоим. Но подготовиться надо: мало ли что. *Толстый пепел упал и распался.*

### 3

Вечером зашел Степан. Предупредил, что рано утром улетает на денек: проблемы в Питере. Быстро взглядывая, пробивая напролет, привычно выдул бадейку вечернего чаю. Красного до черноты, горячего, как доменная печь. Жанна и Тёма всегда подливали холодной, а Стёпа крупно глотал кипяток: как можно остужать божественный напиток?! Жанна суетливо бормотала; о чем ни попадая, без пауз, лишь бы треклятый Забельский больше не вставал перед глазами, не напоминал о сегодняшнем утре, о предстоящей слежке и доносе... Ты знаешь, Степа, прикупила милый шарфик, совершенно вроде бы ненужный, но такой летучий, в модную расплывчатую зелень, а в парфюмерном так пахнет, как будто ты в облаке счастья, а в вестибюле неприятная картина, на эскалаторах – красотки, при них уродливые мужички; все девушки строго смотрят вперед, все мужички – исподтишка – щупают глазами отражения чужих девиц в огромном зеркале на спуске...

Бормотала – и самой становилось отвратно; все это говорила не она, не Жанна, живая, настоящая, а какая-то придуманная женщина. Говорила на доступном для мужчины женском языке, про понятные ему женские темы. Лишь бы он не напрягся, не насторожился; и какая же чашка большая, никак не допьет... А потом шаталась по квартире. Все мерещилась та деваха: два соседних номера в «Балчуге» на Мойке; она валяется, он к ней заходит; объятия; недолгий дневной сон на общей постели, опять объятия – и так, между прочим, между главным, насмешки над ней, над Жанной: над старой обманутой дурой... Ночь снова превратилась в

марево; утро было вязкое; к полудню терпение лопнуло; она наконец-то решилась. Степа нарушает все общие правила, а ей – нельзя?

Дверь в кабинет была заперта, ключ убран; Жанна знала код. Компьютер потребовал шифра; Жанна знала и шифр. Степа сообщил не так давно, на крайний случай: если он будет в отъезде, а что-нибудь потребуется срочно. С чего начать? С этих самых оффшоров? С клиентуры? А может, лучше с брокеров? Но где, в каких компьютерных закоулках она должна их искать? А главное, ее решимость – гасла. Еще быстрее, чем нарастала только что. Наблюдать, подсматривать – противно. Но заползти в его дела и вскрыть потаенные файлы – физически страшно. Как проткнуть себе вену. Не коротко, резко надрезать, а именно с усилием проткнуть. Навела компьютерную стрелочку на цель, гладишь указательным пальцем клавишу «Enter», а кожа на сгибе локтя будто ощущает тяжесть кислого железа, пульсирует; надавишь – и брызнет горячим... Так и сидела, смотрела в экран, водила мышкой по рабочему столу. Пока глаза не углядели сами – «Ежедневник». Вот он, в уголке. И тут уж удержаться было невозможно; это не дела, а личное; на личное она имеет право.

Покряхтывая, загрузился долгий файл. Даты. Цифры. Снова цифры. Копии чьих-то писем, явно неженских. По-русски, по-английски. Записи... не любовные. Слишком давно он этот дневник ведет, много понаписал. Первые пометы девяностого – как только был куплен первый компьютер. Вначале короткие, почти шифрованные. *Звтрк Шумей.: Метроп., звтрк Скок.: Мскв, ланчев. Заостровц., Махиндр Модахар, обед Студъездайк, ужс. Три пескаря, Смоленский – хаммер. цнтр. Просит денег Квл, иначе выдв. по округу Хкм, а Сухин. против.* С девяносто девятого – подробнее. Но давай, колесико, крутись; нам нужен сегодняшний день.

Когда там у них все началось? Полгода назад? Год? Месяца три?

*«10 октября. День рождения Веника. Ген. – май. Юра К. в настоящей грузинской бурке, при нем девица с откляченным задом; рядом расфуфыренная мать. Кто? Новая моя Супруга и любимая Теца, прошу жаловать. (Громогласно.) Когда же Ты успел, Юрочка? Долго ли умеючи. Умеючи – долго. Дамочки шепчутся, мужики завидуют. В конце вечера выясняется: розыгрыш. Жена и Дочка сибирского Друга; Друг попросил развлечь в Москве. Развлек.*

Запись как запись. Дальше, дальше... вот что-то очень длинное, сумбурное и яркое, про военных и чекистов; первые правила миром, потом пошли сплошные заговоры, мир попал в ловушку... Жанна начала читать, и вспомнила Степины томские лекции: он уходил в свои знаменитые отступления: сам он их называл – *боковики*; она неслась за его мыслями, как на санках с горы: ровно, ровно, ухаб, трамплин, мамочка, как хорошо! Только очень давно это было.

*Октябрь 17. Историей когда-то правили Военные. По балансу верх оставался за Армией, политика происходила на поле боя. Экономика – примыкала. С обеих враждебных сторон. Выиграет твой вассал – поделится плодами победы. Одолеет враг – перейдешь на его сторону, что-нибудь да отщипнешь от пирога. Миром правила конкуренция силы, в противостоянии – навскидку – определялась цена преимущества.*

Красиво Степа говорит. Внушительно – и быстро, без малейших пауз. Ему мешают лишние детали; он счищает их, как счищают кожуру. Взлет, спад, захватывает дух, на сердце легко, и ты на все готова, только позови. Он тебя приобнял, тебе не страшно нестись поверх истории, а там, под тобой, расстилается Время. Двигутся войска Наполеона; жадный Ротшильд несется в разлетке (обязательно в разлетке, хотя на чем он ездил? да неважно), подкупает писак-журналистов; мировая власть переменилась; тайное слово становится явным, и оно управляет людьми.

*Военные напугались: Торгаши обнаглели, Аристократы обособились, Интеллигенты задрали нос. В ответ Военные усилили Полицию. Тайную. Наступление по всем фронтам, ответная реакция противника: Третий Интернационал, террор как метод политического сопротивления. Неизбежное следствие: Спецслужбы стали еще нужнее. Тут же все загово-*

*рили про еврейский заговор: дело Дрейфуса, протоколы сионских мудрецов. И так далее, по нарастающей, без остановки.*

У Жанны было яркое воображение. Она представляла красивых и сильных военных, которые были галантны, изображали благородство в каждом жесте, и при первой возможности выбирались из армейской грязи, чтобы приодеться, приосаниться и предъявить себя восхищенному обществу. Теперь они в иракской дряни, терпят заранее запланированное поражение. Где, спрашивал Степа, теперь боевой генерал де Голль, с полей войны шагнувший в политику? Нет генерала де Голля, есть выходцы из ЦРУ и КГБ. Что дальше? И как должен вести себя бизнес?

*Мы поддержали НТР, оплатили выход в космос, запустили мобильную связь, Интернет, создали глобальный мир открытых рынков, разорвали границы национальных государств, породили космополитизм; Они усилили слежку. На тех, кто наблюдает за тобой, нацелены камеры служб безопасности от безопасности. Нет границы между объектом защиты и объектом наблюдения. Ловушка.*

*Вывод. Надо закладываться на долгую жизнь под Ними. Мы должны научиться мыслить в Их категориях, чтобы переигрывать конкретно. Прибавочная стоимость и Они. Надо подумать.*

Как же движутся мысли в этой дурной мужицкой башке? По каким просветам скользят, как цепляются друг за друга? Возникают одна за другой, топорщатся все сразу, как торчат игольные уши из швейного набора? Что он переживает, когда пишет? Или не переживает ничего? Ощущает ли он задницей подушечку, подложенную на стул? вспоминает хотя бы иногда, кто ему заботливо ее подарил? Где она, Жанна, в его мире? есть она там вообще? Или только – пока перед глазами, а выпала из поля зрения, и все равно что умерла?

Жанна пролистала еще несколько окон, увидела ночную запись от тридцатого января; этот день она теперь не забудет.

*С утра Менты. Лейтенанта запомнить. Спорт, ужин. Бездарно.*

Жанна резко развернулась на крутящемся стуле. Странная жизнь. Станный человек. Странная комната.

Черный кожаный диван, так приятно продавленный, правильно протертый по углам, пахнущий советской властью, праздниками в генеральском доме. (Папа дружил с начальником томского штаба, а Жанна – с генеральской дочкой; девочки играли в хозяйек, мамы обсуждали дела женсовета, а папы садились на кухне. Папа предлагал: давай теперь поговорим как коммунист с коммунистом! и они часа два разбирали по косточкам публикации в «Правде», политику американских интервентов и стратегические задачи наших войск; где теперь семейство генерала? всех разнесло.)

Старинный журнальный столик, уставленный прокуренными трубками, короткими, длинными, изогнутыми, прямыми: Степан дымил только здесь, только у себя, только наедине с собой. В одном ряду с трубками пятнистый армейский бинокль, мощный, кургузый, царапанный; Жанна забрала его у матери на память об отце, а Степан забрал его у Жанны для своих неведомых мужских нужд.

Над диваном обширная карта – *Ruthenia* – полупустая, стертая и дикая. Жутко старая и жутко дорогая. Сбоку от нее – поменьше, но еще дороже – аляповатый план земель Сибири; белые, охристые, желтые круги, муравьиные черные буковки бегут во все стороны. По левую руку четкий офисный стеллаж с разноцветными папками, расписанными по номерам (что там говорил Забельский про оффшоры?). Возле стеллажа, на коврик, велосипед; время от времени Степа крутит педали.

В самом углу, у окна, отсвечивали раздвижные прозрачные дверки; за первой четкая череда труб, увенчанных тяжелыми кранами перекрытия – как ровный ряд стволов со сложенными штыками; за второй коробочки предохранителей: случись пожар или наводнение, можно

сразу принять меры. По другую руку низкий шкаф с любимыми книжками: Уоррен Баффет – «Письма акционерам», забавные бойкие шведы про бизнес в стиле фанк, все это она уже проглядывала, читать невозможно, скучища. Над шкафом, почти во всю оставшуюся стену, его любимый Пастернак: желтое лето, охристое солнце, золотые лица, славные времена, и они бы могли так, сердце щемит.

Она включила подсветку над сибирским планом с черными, отчетливыми буквами, взяла бинокль, подкрутила окуляры. Карта была у самых глаз, подсветка слегка мерцала, начался полет над раскрашенным прошлым. Из новой земли Галандец через самоедов земли Тверской, Югорску, Колмыгорску и Поморску, подрагивая в такт сердцебиению и поминутно попадая в расфокус, она добралась до центра мира, центра плана: белый круг, рассеченный венозными реками: *Великая Татария высокого холма, и всей внутренней Сибири, а в ней грады – славный град Тоболеск...* непонятно, а, наверное, *со многими уезды...* не разобрать, что-то вроде Тавра, какого Тавра? Тюмень... *Туринеск* (это еще что за итальянщина) *с великими ясаиными Татарскими Городками и волостями...* А вокруг пляшущие буквицы и циферки: *Казачьи Орды, Пермь Великая, Земли великой Московии...*

Значит, вот как он, устав от пересчетов, путешествует по картам и картинам, взгорьям и рекам и насыпям краски... А что он еще тут делает? Жанна перебралась на диван, уютно свернулась в калачик, принялась. В поры красного дерева, в трещины кожи впитались ароматы табака. Они проступали по очереди. Сначала отделялись легкие, летучие оттенки вишни, за ними тянулись сладковатые шлейфы ванили, тяжелый дух густого голландского курева, на самом дне держался горький осадок махорки: привычка горлодерить осталась у Степы с матросских времен.

Старая картина краской пахнуть давно уже не могла, а все равно припахивала: еле-еле. Велосипед разил металлом, машинным маслом. Небрежно брошенная спортивная майка – засохшим до корочки потом, чем-то родным, далеким, неприятным и желанным. Это все его запахи, которыми он не пожелал делиться с ней. Спрятал. Обособил. Отделил. Сам живет в них, сам для себя ими пахнет.

Не для нее.

Стало так жалко себя... Она ведь очень хорошая, без ложной скромности, у кого ни спроси; за что ей все это?

Нет, ломать себя и скачивать его секреты она не станет. А к детективу все же сходит. Там – посмотрим.

## 5

Ухтомский сидел на Соколе; двадцать первый этаж небоскреба; стены стеклянные, стол стеклянный, чашечки тоже стеклянные. Не офис, а гигантский аквариум. И сам он в этих хрупких стенах, за прозрачным столом, на фоне белой Москвы, казался извивающейся рыбкой. Подплывет, замрет на несколько секунд, позволит собой полюбоваться, и мгновенно исчезнет, сверкнув чешуей.

Идя на встречу с детективом, Жанна представляла циничного дядю: рыжие волосы на коротких пальцах, кожа неровная, конопатая; он тяжело сопит, поправляет подтяжки в полоску, потом вызывает помощника, неопрятного, неразличимого, и пускает его по следу. А тут – высокий парень с неожиданным лицом: кожа тонкая, оливковая, нежная, черты мелко-ватые, вид моложавый, почти мальчуковый, а волосы совсем седые. Верхние зубы крупные и загнутые книзу; когда рот закрыт, то вид суровый, чуть не мрачный, но только приоткроет – губа сама собой сползает вверх, и человек как будто бы смеется. Жизнерадостно и лучезарно. Даже если предельно серьезен. В правом ухе смешная сережка; стальное кольцо-многогранник на левом мизинце. Причем – поверх сустава, на фаланге, как маленькая гирилка для довеса.



Он явно знает, что ему идет темно-зеленая рубашка навыпуск, черные джинсики, синие бархатные ботинки; ишь, какой. Кокетливый, забавный. Года на два, на три ее моложе. Приятный немосковский говорок, не сибирский, но и не южный; скорей всего, откуда-нибудь с Волги: он сглотывает гласные на выдохе, тут же это замечает, начинает по-столичному растягивать. Но речь невероятно четкая, дикция почти актерская, звуки отлетают от зубов. Нет, нет, хороший парень; молодец, Забельский.

Парень скользил по кабинету, словно бы слонялся без дела; говорил – без умолку, однако же не тараторя; то про дела, то про жизнь, то опять про дела; расхваливал свою сумбурную профессию: что в ней, казалось бы, веселого, а все-таки она живая, настоящая; тебя как будто подняли над городом – повсюду крыши, крыши, все тяжелое, непроницаемое, и вдруг они начинают раскрываться – как раковины или табакерки, одна за другой; внутри загорается свет, там люди со своими судьбами, и в этих судьбах надо разобраться... Жанна отчетливо все это представляла; в детстве у нее был игрушечный домик, в нем горела электрическая лампочка, был щедро накрыт крохотный столик, заправлены постельки, шла своя отдельная кукольная жизнь...

Вдруг Ухтомский остановился, ровно посредине залы, и уморительно изобразил обманутого мужа: худое лицо внезапно обрюзгло, зеленоватые глаза помутнели, покрылись влагой, нижняя губа набухла и отвисла, взгляд блуждает по сторонам... Впрочем, он тут же смутился, посуровел, стал чересчур усердно рассказывать про технологию работы: подсьемки, отчеты, графики передвижений... Паренек, конечно, прокололся: не сообразил, что мог ее обидеть; она ведь тоже – обманута. Ладно уж, она не обижается; ведь так приятно – долго-долго говорить с мужчиной, без пошлого подтекста, без малейшего желания понравиться; много лет она была лишена такой возможности. Давай, дружок, формулируй задачи; вари свой колумбийский кофе в хайтековской машинке. Между прочим, аромат не хуже, чем у МарьДмитрьны, хоть и без старинной медной кофемолки, медлительного разогрева и скоропостижного закипания.

Подав гостю крохотную чашку с черной гущей и легкой пузырчатой пеной, хозяин кабинета похвалился видом. Сквозным, панорамным. Справа просторная строгинская пойма, позади погрязший в снегу причал Северного порта, темное свечение январского льда на Москва-реке, внизу индустриальная роскошь Ленинградки, на горизонте – крошечный кирпичный Кремль, обрызганный сусальными куполами...

Час пролетел; они еще не начали игру в вопросы и ответы; но когда Иван наконец-то присел напротив, Жанна поняла, что рассказывать ей больше не о чем: все, что хотел, он между делом выспросил. Вот настоящий мужской разговор: куда бы ни соскальзывала мысль, она все равно возвращается в нужную точку. Женщина спешит за своими словами; они скачут, как яркие резиновые мячики по наклонной дороге, разбегаются в разные стороны; в конце концов приходится остановиться и спросить: «О чем же мы все-таки говорили? Ведь была у нас какая-то тема?». А тут – боковыми путями – они добрались до четкой цели; прекрасно!

– Жанна Ивановна, заказ очень выгодный. И с профессиональной точки зрения, простите за цинизм, интересный. Отказываться глупо. Но должен вас предупредить: вы можете разочароваться. Не в том смысле, что я не раскопаю детали; я – раскопаю. Однако ж иных деталей вам лучше бы не знать. Конечно, я надеюсь, что именно ваш случай – особый; мы поскреем близкого человека, и не обнаружим гнили. Но не факт. Не факт. Вы не опасаетесь, что результат будет хуже, чем отсутствие результата?

– То есть?

– То есть вы хотите понять, что происходит на самом деле. Но кто знает, что такое – на самом деле? Ваш муж и впрямь решил перейти на чужую сторону? Допустим. А вдруг это случайность, ошибка, минутное помутнение, сбой, а все, что было в вашей жизни до сих пор, это и есть – *на самом деле*? Вы не боитесь, что случайное знание о случайном разрушит надежду? И раздавит вас и ваши отношения? Что все потом обустроится, а вы уже не сможете переступить

через себя? Подумайте. Взвесьте. Есть право не знать. Как только я начну действовать, вы это право потеряете. Разумеется, вы сможете остановить мою игру, всего лишь потеряв аванс – что такое аванс? пшик – свое новое знание вы не отмените. Станете строить догадки, мучаться. Еще раз прошу: оцените ситуацию, примите правильное решение.

– Я уже приняла, – обреченно ответила Жанна.

– Ваше право. – Гибкий мальчик вздохнул с облегчением и сожалением. – Составим план, прикинем смету.

## Четвертая глава

### 1

Он меняется катастрофически. Всего три недели как слег, а глаза уже впали, очертились скулы. Дотянет ли до операции? Жанна все время рядом, глядит корявую руку, расчесывает космы, по одному распрямляет волоски, жесткие такие, длинные, упрямые, протирает пролежни пахучим облепиховым маслом, и на складках ее ладоней, на линиях жизни остается жирный оранжевый след; ночью она спит в *его* спальне, и никто теперь ее не прогонит. Последнее право женщины – быть рядом со своим мужчиной.

Он благодарен; изредка приходит в себя, тихо жмет пальцы; она почти счастлива. Счастлива сквозь слезы. А все равно счастлива. Они молчат. Что тратить силы, и зачем слова? вот, ногти надо постричь, загибаются уже, отвердевают, обычные ножницы не берут, только педикюрные кусачки. Звонят партнеры: а как, а что, а где, а на кого? Она всем неуклонно отвечает: не знаю, не до вас, не позову. И ведь действительно не знает: не нужны ей все эти реестры и Багамы, какая разница, куда пойдут активы и пассивы? Есть только он. Он болен. И она. Она пока здорова. А больше нету никого. Да, есть еще далекий непослушный сын. Но Тёмочкин взрослеет, он скоро обособится, затеет отдельную жизнь. А здесь... здесь предсмертный клубок, две судьбы переплелись напоследок, два тела больше никогда не сольются, но они неразрывны, дыхание в дыхание, боль в боль.

В гостях у кинопрокатчика Ицковича (год? полтора? или два назад?) их познакомили со смешным режиссером Котомцевым, Петром Петровичем. Рыхлый, беззаботно-бесформенный Петр Петрович рассказывал байки, хрипло веселил народ. Зажатые люди из бизнеса долго держали дистанцию, вежливо говорили «ха-ха», но в конце концов оттаяли, помолодели. Растянули эксклюзивные галстуки, сбросили авторские пиджаки, забрались на кресла с ногами, стали неприлично ржать. Не владельцы предприятий, а богема!

Лишь одна история Котомцева, что называется, не покатила. – Великий сценарист Дремухин видел сны. В этих снах он сочинял сюжеты. Гениальные, какие же еще? Но просыпался – и вспомнить ничего не мог. Только привкус райского яблока, утраченный аромат блаженства. Дремухин мрачнел, злобно завтракал и уходил бродить по Москве – в любую погоду – без цели. Располневший, бородатый, в длинном пальто, похожем на солдатскую шинель... Гонорары ему платили редко, называли подвоилой, но заказы все равно давали: настоящий талант не проспишь. Наконец, жена Дремухина придумала, как помочь мужу и упрочить семейный бюджет. Подарила карандашик с маленьким грифелем и очень удобный блокнот заграничного производства. Открываешь блокнот – загорается тонкий фонарик, пристроенный внутри корешка. Закрываешь – подсветка гаснет. Пробудился, записал, и спи себе дальше.

Проходит ночь, другая, третья; Дремухин ну никак не успевает вовремя очнуться, поймать историю за хвост. И вот ему везет: он открывает глаза посреди широкоформатного сна, готов умереть от счастья, весь трепещет: такой сюжет! такой сюжет! победа. Набрасывает план – и валится на жесткую подушку. Спит полноценно, долго, до обеда; проснувшись, лениво шарит ногами по холодному полу, неспешно согревается в теплых тапках, заразительно потягивается, чешет мохнатое пузо, в полное свое удовольствие принимает душ; куда теперь торопиться! Свежий, довольный, садится за стол и зовет жену. Открывает блокнотик. А в блокнотике две безглагольные фразы: «Ночь. На дороге, обнявшись, двое».

Все вежливо дослушали, переглянулись: ну двое и двое, в чем цимес? А теперь до нее дошло: это и был самый лучший сценарий. Бог, если Он есть, открыл сценаристу глаза. Котомцев ничего не понял. И они тогда – не поняли. Потому что вот она, мечта. Ночь, утро, день,

вечер – неважно. По дороге, обнявшись, идут двое. Или постель. Обнявшись, двое лежат. Или болезнь. Двое рядом, его рука – в ее руке. И чтобы так пролетела жизнь. А она пролетит, не замедлит...

...Господи, что же это она такое творит? Надо гнать опасное видение, что за глупости она насочиняла, что за мысли о болезни близкого; еще накликаешь беду. Слава Богу, Степочка жив и здоров, ничего с ним не случилось и не случится, тыфу-тыфу-тыфу, постучим по деревяшке, а она дура, дура, дура, что себе позволяет. Таня тоже права; надо завтра забежать в церковь, поставить свечку, замолить грехи.

Спокойной ночи, Жаннушка. Спокойной ночи, милая. Попробуй сжаться в комочек, укрыться одеялком, укуклиться, и мирно уснуть. Монеткой провалиться за подкладку, и тихонько лежать, чтоб не нашли. Целая ночь покоя впереди. А утром все равно проснешься, и вместо привычной радости пробуждения будет слой за слоем проявляться тоска. Как поверхность усталой кожи после смытого макияжа. Синяки, мешки и мелкая-мелкая сетка морщин.

## 2

Водитель – профессия заднего вида. А сзади Василий похож на бульдога – это Жанна хорошо подметила. Гладкошерстый загривок, тугие хрящи на ушах, на шее массивные складки. *Авдюшку* ведет безупречно, но все время ворчит и бормочет. Потому что не велено слушать радио и включать телевизор, а просто так рулить неинтересно. Бу-бу-бу, бу-бу-бу. Половины слов не слышно, но Степан и не вникает. Сначала что-то про цыган, которых в Тарасовке стало как грязи, обнаглели совсем, наркота – через них, воруют, прыгают всюду, как блохи, управы на них никакой; будет им обратка, народ возбудится, уже не удержишь. Потом, мелко хихикая, про жену, которая в выходные заподозрила неладное, чуть не прибила за блядки: она сильная и некультурная, деревенская, из Удмуртии взял, до сих пор деньги в лифчик прячет, кладет под кровать деревянный обструганный член, для плодородия, и говорит *ложі́*, *ложі́ть* и *ло́жит*. Типичная дура.

– Вот я и спрашиваю, Степан Абгарыч, можно ли мужчине не иметь отдельную женщину для души? Чтобы там быт не заедал, чисто для радости? Нельзя. Каждый мужчина имеет право налево, это так природа устроила. Верно ведь?

И в зеркальце – зырк, зырк. Дескать, не надо меня выводить из игры. Не стоит шифроваться и таиться. Мы же ж все понимаем, мы же ж свои. Тем более, что и так, без вас, уже обо всем догадались.

Посвятить его, что ли, в детали? Придется, наверное. А может, и нет; Мелькисаров еще не решил.

– Притормози. Запаркуй. Подожди.

Степан Абгарович с полузабытым наслаждением прошелся по арбатскому снежку. Хрум, хрум. Сначала брел по Денежному переулку, потом через Глазовский завернул в Могильцы, постоял у дома с барельефами. Длиннобородый Толстой, худосочный Гоголь, жизнерадостный Пушкин – в окружении ветхих наяд; из нарядов гипсовых красавиц выпростались сероватые груди, узловатые руки классиков лежат на приятных выпуклостях; выпуклости потрескались, облупились, а сбоку даже полуобвалились: колотая кучка аккуратно сметена к стене. Здесь до революции было веселое заведение, а теперь жилой дом. Барельефы разрушатся, рейдеры закажут экспертизу, дом приговорят, снесут и построят новый, по тридцать тысяч долларов за метр. Без наяд на фасаде. Зато с наядами внутри.

Еще за угол, еще; вот оно.

Никакой таблички или знака; доступно только для своих. Звонок; булькающий домофон; второй этаж. У входа в сумеречный коридор встречала владелица, Ульяна Афанасьевна, дама лет пятидесяти, высокая, худая, с округлым и полуоткрытым ртом, похожая на миногу. Волосы,

прокрашенные в рыжину, собирались в девичью косичку; выражение лица у нее было игривое, глаза энергичные, темные.

– Извините, уважаемый Степан Абгарович, извините за темень, мы, поймите, свет не экономим: просто сводим на нет риск ненужной встречи. Мало ли. Пройдемте сразу ко мне, я займусь вашим делом лично; сам Соломон Израилич звонил.

Чем темней был коридор, тем кабинет казался светлее, просторнее. Окно выходило на заснеженный детский садик; старую раму обновили, от глухих стеклопакетов отказались, и непривычный уличный звук просачивался в помещение. Дети кричат, няньки ругаются; уютно. Мелькисаров похвалил: хорошо; Ульяна Афанасьевна гордо кивнула: знаем.

Всю стену занимали ряды безымянных папок, только номера на корешках. Агентство называлось «Алиби»; оно безупречно путало карты частному сыску, спасало репутации, сохраняло семьи, помогало врать во спасение. Вы нам всевидящую слежку? а мы вам длинный дымный шлейф; вы по следу, по следу? а мы хвостиком вильнем направо, свернем налево, попробуйте нас отыскать. Клиенток было больше, чем клиентов; провинциалов больше, чем столичных; но перебоя в заказах не случалось, за двенадцать с половиной лет – ни дня простоя.

Тюменские нефтяники и сахалинские промысловики передавали Ульяне кредитки, травили денек-другой на постановочные съемки – и отправлялись восвояси. В заснеженный Шамони, или в пропахшую торфом и виски Шотландию, или в бело-голубой Оман; мало ли хороших мест на свете, словно бы специально предназначенных для двух симпатичных людей, один богатый, а другая – красивая. Тем временем сотрудники агентства обналичивали деньги в банкоматах, оплачивали покупки в бутиках, переключали звонки на московский номер, монтировали снимки на фотошопе. Вот клиент на входе в центральный офис, с коллегами в модном ресторане «Пушкинь», кушает пожарскую котлету, запивает русским квасом, десять евро граненый стакан; а вот прощальный кадр перед посадкой в «Домодедово»... По возвращении домой суровая провинциальная жена проверяла распечатку счетов: 14 часов 35 минут, Москва, 20 часов 18 минут, опять же Москва, следующий день, 11 часов, все равно Москва; разглядывала фото, хвалила: семинар (совет директоров, отчет, заказ) удался на славу – и шла примерять столичные обновы. Муж скромно улыбался.

Содержанок вызвали в суд, повесткой, по мнимому разделу наследства – в родной Ростов, Саратов, Самару, Краснодар, где слишком много красивых девушек и слишком мало богатых мужчин; там, на родной земле навсегда пролетевшего детства можно было не стеснять себя приличиями, говорить громко, всласть, есть от пуза, романтично гулять по проспекту; отдохнув недельку в кругу любимых нищих мальчиков, легче было терпеть скучных скуповатых папиков в Москве.

Агентство умело все. Свести и развести, разыграть и прикрыть, создать параллельную версию жизни. Только против жадности и глупости оно было бессильно. Как помочь второму вице-президенту, отправленному на переговоры в Стокгольм и оплатившему корпоративной картой женские прокладки в ночном вокзальном магазине – ровно в четыре утра? Что делать с африканским загаром, если вы уезжали в Калугу? Только посочувствовать и распрощаться.

Система была отлажена; стандартный набор приемов – все равно что комплект разводных ключей: замеряем количество дюймов, выбираем насадку, три-четыре поворота, дело сделано, можно ехать дальше. Все отлично, четко, прибыльно; не слишком, правда, интересно. Но случай Мелькисарова – особый, это высший разряд, настоящее творчество. Степан Абгарыч излагал канву; Ульяна слушала, качала головой, глаза у нее загорались. Узнав про порванное фото из ГАИ, она вообще затрепетала; как девочка, захлопала в ладошки: ух ты! Правда, ревность тут же взяла свое; по лицу пробежала тень. Ульяна завистливо, несколько даже с обидой спросила:

– Что же к нам пораньше не пришли? У вас повсюду собственные кадры? Разбросили широкую сеть, уважаемый Степан Абгарович?

- Мир не без добрых людей.
- Да уж, Вы могли бы стать мне конкурентом!
- Мог бы. Но не стану. Доверяю профессионалам.

Он улыбнулся примирительно, вольготно. Ульяна подавила минутное чувство досады, опять увлекла себя замыслом. Они долго разминали тему, рисовали эпизоды, докручивали фабулу; в конце концов набросали планчик, расписали иные детали, разметили даты, обговорили гонорар и накладные расходы. Составили контракт – с 7 февраля по 31 марта такого-то года включительно. И разошлись, довольные друг другом. Скучать никому не придется. До встречи.

Он спустился по лестнице черного хода. На улице слегка похолодало. Полузимний вечер подступил вплотную; солнце светило из последних сил. Мелькисаров шагал весело, широко. Через пять минут подошел к машине.

Василий крепко спал. Степан Абгарович резко распахнул дверцу, шуганул шофера:

– Так тебя из машины выкинут. Рано или поздно. Сонная ты тетеря.

– Простите, хозяин, ждал, ждал – и вздремнул. А у вас как прошло, все удачно? – И опять многозначительно посмотрел в зеркальце: скажет, не скажет?

Нет, не сказал. Зато сказал другое.

– погоди, не трогайся, Василий. За тобой сейчас пристроится «Мазда», шестая, и потом еще какое-то время вплотную поедит; ты не реагируй, езжай спокойно, так надо для дела.

– Охрана, что ли, Степан Абгарыч?

– Я же говорю: спокойно. Месячишко-другой потрется возле нас, и навсегда исчезнет.

Вот она, видишь?

– Угу.

### 3

Ухтомский назначил встречу в ресторане, на углу бульварного кольца и Сретенки. Ресторан был дорогой и невнятный. Повсюду пышные восточные ковры, легкая итальянская еда за весомые русские деньги, беззвучный экран, по которому двумя рядами с разной скоростью бежали биржевые сводки, серые цифры мешали зеленым, красные рябили в глазах. Равнодушные официанты заняты собой, а не гостями. Стоят у барной стойки, хихикают в голос, подзуживают бармена.

Иван оглянулся раздраженно, ничего не сказал, только зло заиграл желваками – и стал похож на недовольного начальника. Щелкнул пальцами, жестом подозвал менеджера, показал глазами на службу, молча поднял бровь; менеджер тенью скользнул к бару, и в зале установилась уважительная тишина. Ваня развел руками: дескать, с ними только так и можно. Что же, он умеет проявить настоящую силу.

Зал был пуст, кроме них – никого: неурочное время. И хорошо, что никого. Не хватало еще пересечься с кем-то из ее знакомых.

Иван не спеша докладывал; Жанна полурассеянно внимала.

Рассказ про девушку был выслушан, принят к сведению – и задвинут на задворки памяти. Потому что никаких сюрпризов не принес. Аня все тогда угадала, разложила по полочкам. Дарья Давлетьярова, полурусская, полутаджичка, в столице с двенадцати лет, родители рано умерли, воспитывал дядя; возрасту юного, только что исполнилось двадцать два; работала в бюро эскорт-услуг, два месяца назад уволилась, сейчас нигде не служит. Нетрудно догадаться, почему; за чей, так сказать, счет перестала нуждаться.

Судя по всему, сначала все было не слишком серьезно. Оплаченный чистенький секс с врачебной гарантией безопасности. С этим Жанна давно смирилась, а что ей делать, все равно деваться некуда. Но девушка попала умная; приручила и замкнула на себя. И затаилась. Гра-

мотно. В таких делах нельзя спешить и поторапливать события. Пускай крючок дойдет по пищеводу до нутра, там и зацепим, вонзим заточенную сталь, потянем на берег. Медленно, по течению, без подсечек. Сачок заготовлен заранее, милости просим, дорогой С. А. М.

А теперь – наглядные материалы. На низком столике были разложены фотографии, отснятые позавчера на выезде, в Нижнем. Веселые картинки про любовь, фотокомикс на тему «адюльтер». Четырнадцатое февраля, день влюбленных. Степа с *этой* любятесь нижегородским Кремлем. Игриво шутят возле памятника Чкалову: былинный авиатор натягивает летчицкие краги; на фоне речного простора детали сливаются, фигура кажется монолитной – вылитый чугунный Вакх с могучими причиндалами. Намек понятен. Сучка. Выходят, сытые и довольные, из ресторана «Царская Охота». Проскальзывают мимо ряженого швейцара в гостиницу «Вольтер». Мягкий свет, легкий вечер, заманчивый уют дорогого отеля... Там, глядишь, и постелька... Фотографии профессиональные, краски сочные, гламурные, репортаж из жизни звезд. А вот и Степина машинка, вмятина на месте, номер верный...

Но что-то не то, что-то не то. Как в классическом сложном пасьянсе, все поначалу совпадает, а потом до конца не сходится. Король приближается к даме, прикрывается джокером, но бьется тузом. Смотрим еще раз, внимательно. Кремль – да, набережная – да, вход, машина... Вот оно! Валет не на месте. Потому что Василий – в машине. Сквозь лобовое стекло не очень четко видно, но нет сомнений, это он. Откинул спинку, растянулся поудобней, и сопит. Но именно позавчера он заходил, заносил ей документы на осагу и брал деньги на замену масла. Сказал: хозяин поручил побегать, пока он в Нижнем – что-то там по бизнесам. Странное существо Василий, летучее. То его нет на гаишном фото, хотя обязательно должен быть. То он вполне себе есть, хотя быть его на снимке не может.

– Иван, как все это понять?

Иван с неудовольствием послушал, переспросил уклончиво:

– Вы точно помните, Жанна Ивановна? Позавчера? На Валентинов день? Не тринадцатого, не пятнадцатого?

– Я, конечно же, обманутая женщина, но все-таки покамест не блондинка. Отдаю себе отчет в происходящем. По крайней мере, так мне кажется.

– Не сердитесь, что вы, я же ничего такого не имел в виду. – Когда он смущается, уши смешно елозят, как у провинившейся собаки, проколотый хрящик краснеет, он начинает нервно крутить на мизинце свой многогранник. – Я, честно сказать, не понимаю, что случилось. Не готов предложить ответ. Может, наш сотрудник напутал, отснял Василия в Москве, потом забыл, приложил к общей стопке – смотрите, Жанна Ивановна, по фото не понять, где именно стоит машина, в Нижнем, на улице Ленина, в Москве, на площади Маяковского, или вообще на пляс д'Этуаль. Фона нету, крупный план. По любому, это безобразие, мы разберемся, завтра доложу, наложим штрафы, дадим вам бонус по оплате, никаких проблем.

– Есть проблема.

– Какая? – совсем смутился.

– Хватит называть меня Жанной Ивановной, подчеркивать разницу в возрасте.

Все мерзко, гадко, отвратительно. Жизнь переломилась надвое, пошла вразнос. Но слегка поккетничать можно. И понаблюдать за мужской реакцией. Это еще никому не вредило. Даже если на душе совсем уже кисло. Ребенка наказали, он сидит взаперти, плакать хочется, а еще бы лучше – умереть, чтобы все пришли на похороны и сами рыдали над гробом, а он бы следил сквозь сощуренные глаза и в душе наслаждался мщением; но умереть никак невозможно, поэтому наказанный просто дергает спящего кота за седой ус и ласково наблюдает, как тот недовольно кривится и трет морду лапой. Забавно.

– Обещаю вам, Жанна, больше не повторится. И никакого возраста у вас вообще нет. То есть... я хотел сказать...

Округлые зубы полезли вперед, губа откатилась вверх, выражение лица комичное, а глаза напряженные, бегают...

Все-таки он милый.

#### 4

На следующий день Иван позвонил с утра.

– Мы могли бы встретиться после семи? ненадолго, но не в офисе, и вообще не в помещении, мне кое-что не нравится, хотел бы с вами обсудить.

– Ладно, Иван. А где?

– Ну, чтобы не вызывать подозрений... и поближе... вы живете ведь на Чистопрудном? я не путаю? а на каток случайно не ходите?

– Ваня, дорогой, какой может быть каток в наши годы? Я там уже лет пять не была, с тех пор, как сын подрос.

– Но коньки-то остались?

– Как ни странно.

– Тогда, может быть, измените привычкам?

– Молодой человек. Молодой человек. Вы меня приглашаете покататься? Пикантно. Что ж, оно мне даже приятно. Давайте тряхнем стариной. В семь, найдете меня на льду, идет?

– Спасибо вам, Жанна. Я буду вовремя. Как штык.

Спортивный костюм чересчур обтягивал ляжки и округлял мягкие части, все-таки полразмера она прибавила; ну, может быть, не полразмера, а какую-нибудь четверть; и все же. Ботинки были жестковаты, обувная кожа быстро старится: кончики пальцев сжимались в щепотку, обязательно замерзнут. Но Жанне было все равно; однообразие жизни вдруг нарушилось, появилась нервная радость, завязался сюжет с непонятной развязкой. Впереди – не смутный вечер в одиночку, не привычный разговор с МарьДмитрьной, не кружок спортивной самодеятельности, а приятная встреча с приятным Иваном, невинное, святое приключение. И, что там скрывать, небольшая, безопасная месть. Вы нам так, а мы вам эдак. Держитесь, Степочка Абгарович, мы тоже когда-то кружили головы, умеем-с.

Она пришла заранее: раскататься. Чтоб не ударить в грязь лицом. Кстати о лице; пусть порозовеет, оживится, а то совсем стало бледное, вялое.

Позавчера погоду шатало из тепла в мороз и обратно; вчера была почти весна, сегодня резко похолодало, с неба посыпался острый снег; освещенное пятно катка как будто запотело. В ярком тумане, как странные мерцающие тени, скользили юные фигуристки, пожилые дядечки осторожно несли свои животы, пронесилась юркая молодежь. Жанна неуверенно потопталась на месте, ногам было неуютно, остро; наконец она решилась, скребнула лезвием – и поехала. И сразу сбросила все: неприятности, слежку, возраст. Тело вспомнило полузабытую привычку, держалось все уверенней, вольготней; упразднились мысли, движение совершалось само собой. Сквозь тонкий снег, сквозь вязкий туман, по кругу, по кругу; не путайтесь под ногами. Девочка, осторожней, не налети; молодец, девочка, верткая. Чувак, куда несешься ты? а след его уже простыл.

Ей было сейчас тринадцать лет, не больше и не меньше; уже не девчонка, еще не подросток; позади беспрекословное послушание, впереди поколенческий бунт, а покамест сплошное блаженство – быть рассудительной, спокойной, послушной и при этом полностью свободной; мама с папой где-то близко, но все-таки не за ручку; ты под их защитой, но сама по себе. Таким был Тёмочка перед отъездом в далекий Веве: тринадцать лет, аккуратная челка, штаны, как у папы, сплошные карманы, гордый, но пока не протестует, родителей не стесняется. Но Тёмочке, тому постоянно шесть. Упрямый и обиженный вопрос в глазах: ну почему?! Вырастет, возмужает, женится на какой-нибудь дуре, которую Жанна заранее ревнует, и все



равно останется шестилетним. Как на любимом потресканном фото: упитанный мальчик стоит в луговых цветах, вокруг огромная тимофеевка, гигантская ромашка, доисторический хвощ; в одной руке у мальчика машинка, в другой коробка с жуком. А Степану, тому всегда слегка за сорок. И когда они только встретились, было сорок, хотя по паспорту – меньше тридцати, и сейчас, когда отзвенел полтинник. Вечные трудности среднего возраста, помноженные на жесткий опыт и зрелый ум. Никогда не состарится и никогда не избавится от проблем; тяжело ему, бедному.

– Осторожно!

На полной скорости она влетела во что-то крепкое, мохнатое. Подняла глаза: Иван.

## 5

С Дашей ему повезло. Все понимает с полуслова, чувствует, когда не до нее. Спокойно уходит в себя, становится беззвучной и воздушной; великое дело Восток. Единственная Дашина слабость – обожает сидеть за рулем. Но слабость извинительная, милая.

Ведет она машину хорошо; сидит почти расслабленно: что напрягаться, если все под контролем; неуклонно смотрит на дорогу, не мигая. Как настоящая кочевница. Кочевница, впрочем, и есть. Или таджики были земледельцы? Кажется, что будет ехать ровно, по прямой; вдруг начитает тикать поворотник, Даша мягко отклоняет руль, на секунду дает ускорение, и они уже в крайнем ряду.

Славная, теплая девочка. Заслуживает многого. А получит мало. Здесь вам не кино; хеппи-энды случаются редко. Вряд ли она вырулит по жизни; в этом плотном ряду не осталось зазоров. Постоянные места при серьезных мужчинках давно уже заняты; если вдруг освобождается вакансия, на хищника тут же бросается свора; Даша слишком нежная – порвут. Так и будет проситься в чужую машину: дяденька, дай порулить. Потом подсохнет, как сохнут восточные женщины, и за рулем окажутся другие. А там? а там – кто может знать, что будет там. Лучше радоваться свежим впечатлениям.

Последние пятнадцать лет он либо вел машину сам, либо равнодушно плюхался на заднее сиденье, за Василием; справа от шофера может сидеть кто угодно – охранник, порученец, временный партнер, но только не солидный человек. Увидят коллеги, покрутят пальцем у виска; демократ, эксцентрик, лучше не иметь с ним дела, выкинет фортель, потом разбирайся. Красавица – совсем другое дело. Ах, какая девушка у вас, Степан Абгарыч, примите поздравления... Как только появилась Даша, Мелькисаров получил роскошную возможность – пересесть; он глядел в окно и тихо радовался. Так лохматый пес, любимец хозяев, с важным видом смотрит из машины, притворяясь, что очень строг, а на самом деле все ему любопытно.

Из водительского кресла дорога кажется расчисленной, логичной. У каждого свой стиль, свои скоростные привычки, но схемы поведения прочерчены математически точно. Постаревшая, обрюзгшая братва презрительно глядит сквозь тонированные стекла на весь этот лохотник. Белокурые подружки толстых дядек, доказывая что-то жизни и себе, злорадно вгоняют свои огромные «Кайены» в едва заметные просветы на дороге, как вгоняют занозы под ногти врагу. Господа, которые по бизнесам, прячутся за спинами водителей, время от времени давая команды, как в старину подталкивали кучера хлыстом: голубчик, мчи по разделительной, будет полтина на водку. «Жигули» тотально выкуплены гражданами с юга; они буравят Москву во всех направлениях, ни одного не зная как следует; любимое их развлечение – внезапно дать по тормозам на ледяной дороге и, по-звериному взревев, крутануться на месте, чтобы на секунду замереть, выплюнуть черный дым из-под хвоста, и усвистать в обратном направлении. Если не сшибутся с кем-нибудь в момент лихого разворота.

А дорога справа вовсе не такая. Вольная, рискованная, хаотичная. И смотришь ты не на машины, а на людей в машинах; дьявольская разница.

Маленькая девушка на огромном иксе-пятом еще покажет всем, кто тут главный; высоко сижу, далеко гляжу – напоминает крановщицу, зависшую в будке над стройкой; но это будет позже, а пока она так бойко, так увлеченно болтает, что ничего ей больше и не надо. Следит за дорогой, реагирует бурно, но в ухе – мобильная рогулька, и губы шевелятся, шевелятся. Сразу ясно – говорит с подружкой. С мужчиной так не поговоришь: самозабвенно, бесконечно, без разбору; о чем нам скажется, про то и скажем, вот. Небольшой затор на светофоре; девушка, не оставляя разговора, мешает рукой во вместительной сумочке, где все перепутано со всем: флакончик духов, салфетки, ключи, записнущка, жевачка, тампон, модная киношка на сидюке, на всякий случай запасной презерватив и серебряный валдайский колокольчик, как он только сюда мог попасть? Смотрит исподлобья в зеркальце заднего вида, поправляет мелкий изъяз; вот и рассосалось, можно ехать. Короче, мама не горюй! опустила по самые помидоры... а он мне, значит, бля... а я ему, такая...

За рулем бывалой «Волги» основательный майор в отставке – из разряда «еще по пивку?»; бухое лицо, основательно изрытое оспинами. Ой, не хотелось бы дневалить в казарме, когда его дежурство. Волгарь намерен покурить – вслепую шарит возле ручника, уютно разминает пачку, ловко вытрясает сигарету в свой разверстый рот и шлепает губами, как дрессированный тюлень, поймавший рыбу; лезет за прикуривателем, на секунду отвлекается – и чуть не въезжает в ульянину «Мазду» с развязным потливым фотографом. Кровь ударяет военному в голову; он бьет кулаками по рулю, матерится, театрально трясет руками – объясняя *каззлу*, кто он такой, этот *каззел*...

А справа от «Мазды», в крайнем левом ряду – здравствуйте, не ждали! – виднеется дражный пикап, «Жигули», голубая четверка. За рулем, как полагается, чернявый. Его как следует не разглядишь: ближние машины то расступятся, то сомкнутся... И все равно сомнений нет и быть не может: чернявенький – тот самый; и невнятный напарник – за ним, в глубине.

Мелькисаров напрягся.

Четыре дня назад они опаздывали в Нижний. Вася, чертыхаясь, выруливал с тесной стоянки; фотограф поджидал их на бульваре. Голубой драндулет стоял за углом, шутовски выбиваясь из общего ряда. Справа седьмой «БМВ», слева «Хаммер» с короной из стальных прожекторов и блескучим стальным кенгурятником. А между ними жалкая четверка: как шелудивая дворняжка среди медальных псов. Мелькисаров сказал: Василий! ты гляди... И мы на таких свое откатались, помнишь? трудно поверить, боже ты мой, как же время летит, другая эпоха. Василий ответил: ага. Ну ты, старый пень, куда прешь! вот молодец, так бы сразу.

На самом выезде из чистопрудного двора Мелькисаров оглянулся – так, на всякий случай; береженого бог бережет. Пикап, не смущаясь роскошным соседством, беззаботно выползал со стоянки, чтобы пристроиться за ними. (Надо будет поставить второй шлагбаум, прямо в арке.) Садовое кольцо кишело разномастной пробкой, нужно было пронырнуть сквозь плотный строй машин – в объезд; пока Василий совершал маневры, четверка вроде бы отстала; он про нее и думать забыл.

Но сегодня днем опять возникла на дороге. Резко свернула за «Маздой» в Грохольский, засвиристела тормозами, завиляла на лысой резине, еще бы чуть-чуть и столкнулись. Мелькисаров оглянулся в ярости: кто еще тут лезет под колеса? Сразу опознал пикап блудливого голубенького цвета. Подивился совпадению: в Москве три миллиона машин, и надо же два дня подряд встречаться с недомерком? Пригляделся: за рулем какой-то баклажан: толстомясый мужичонка, прокопченный на суровом солнце. Но, кажется, не азиат. На заднем сиденье – похоже, такой же чернявый, но на самом деле поди разбери. Василий тронул; фотограф поспешил за ними; пикап бултыхался сзади; ближе к выезду на кольцо безнадежно отстал, начал уменьшаться, превратился в точку, исчез.

И вот очередная встреча. Сомнений быть уже не может: слежка. Но кто послал за ними ржавую четверку? И, еще существенней, зачем? Мелькисаров чист как лобовое стекло после

мойки. Боковыми путями давно уже не ходит, алюминия и нефти у него не было и нет, кокосом не торгует, дорогу никому не перебежал. Рисктивный инвестор. Волк-одиночка. Разве что тогда, с Мусой... но все – на покойном Отари, прошло пятнадцать, если не шестнадцать лет. Нет причины, повода и мотива. Или это привет от давешнего лейтенанта? Могли Роман Петрович и тот майор с брылями попросить друзей: помозольте Мелькисарову глаза, потревожьте, посигнальте, а мы потом заглянем в гости, попробуем переиграть начальные условия? Могли. Друзья подослали людишек. Людишки пустились по следу. Но. Есть нестыковка. Почему они такие скромные, катаются на драндулете? Несolidно, хотя вероятно. Вероятно. А все-таки несolidно.

Дашкин превратилась в собственную тень; ее не видно и не слышно – угадала перемену ветра. У мужчины проблемы. Мужчине лучше не мешать. Степан Абгарович ушел в себя. Прикидывал, кому звонить. Где там телефончик лейтенанта?

– Роман Петрович, здравия желаю. Мелькисаров моя фамилия. Помнишь такого, лейтенант? И хорошо, что помнишь. Слушай, лейтенант, есть проблема. Мы с тобой договорились обо всем? договорились. На болвана сдали? Сдали. А кошмарить зачем?

Лейтенант удивился. Причем от души, непритворно. Заговорил суетливо и убедительно, дважды обращаясь к собеседнику, в начале фразы и в конце; так когда-то говорила мелькисаровская бабушка, старенькая мамина мама, сначала успокаивая внука, прибирая его к рукам, а потом закрепляя мораль повторным обращением: «Степа, почему же ты не слушаешься, Степа? Степочка, что же ты не завтракаешь, Степочка? Степан, ну ты же обещал мне, Степан».

– Степан Абгарович, все в силе, мы себя уважаем, не было приказа кошмарить, Степан Абгарович. Номер видите? Ага. Пробью через гаишников и доложусь.

Через несколько минут отзвонился, голос стал чуть поспокойнее:

– Номера не наши, не в угоне и не под бандюками. Кто реально владеет машиной – не знаю; думаю, концов уже не сыщешь. Девяносто первый год, развалюха. Кто-то по доверенности ездит. Вы в каком квадрате? Понял. Степан Абгарович, их сейчас остановят, проверят, я опять доложусь, Степан Абгарович.

Минут через десять они притормозили на светофоре. Светофор не спешил переключаться. Из будки – на другой стороне дороги – вразвалочку вышел гаишник. Степенно пробурлил толпу машин, постучал жезлом по крыше четверки, показал злорадно: здравствуйте, гости столицы, пожалте на обочину, щазз разберемся. Остальным махнул полосатой своей палочкой: валяйте.

Прошло еще, наверное, с полчаса. Раздался звонок. Лейтенант был доволен собой; говорил вальяжно и на равных. Как если бы сидел напротив, развалясь; верхняя пуговка на тощей расстегнута, зеленый галстучек растянут. Тревога, Мелькисаров, оказалась ложной; за рулем четверки молдаваны, порученцы торговой конторы. С регистрацией полный порядок. В Москве не первый день. И не последний. Таких не берут в космонавты. На киллеров не тянут. Клянутся и божатся: ничего не знают, полная несознанка, все совпало. Скорей всего, не врут. Но даже если врут, что нам с того, Степан Абгарыч? После этой проверки они под колпаком; продолжать игру (*буде была*) бессмысленно; можно позабыть про них навеки, *говоря высокопарно*. Впрочем, бдительности лучше не терять; если есть опаска, то одни отслоились, а других приклеют запросто. Но вот что касается наших дел. Все остается в силе? И ладненько. Звони, Абгарыч, если что. Поможем. Успехов тебе.

Лейтенант утешил. Но не успокоил. Хорошо. Допустим, это не заказ. Допустим. А что тогда это такое? Красивые и романтические встречи, три раза, как в сказке? Что-то плохо верится в такие совпадения.

Ответов на вопросы не было; пришлось последним усилием воли зажать свои оправданные страхи и заняться намеченным делом.

Он поменялся местами с Дашей, по кольцу доехал до Можайки, ловко пристроился за чьей-то слепащей мигалкой. След в след, колесо в колесо они понеслись по Кутузовскому, вдоль серой тяжести, монументальной скуки. Быстро и качественно отработали сложную сессию в районе Мясницкой, снова добрались до Грохольского, быстренько отснялись на Рижской, в полуобнимку походили по выставке современного художественного бреда; у метро подхватили Василия, чтобы он сначала забросил Мелькисарова на Чистые (там еще пара снимков), и потом доставил Дашкинса до дому, в Солнцево.

Ехали весело, трепались ни о чем. А на проспекте Сахарова – нате. Все те же баклажаны из четверки. Ждут. Припарковались на обочине, мотор включен; должно быть, лопают багеты с вареной колбасой, пьют разжиженный кофе из термоса, смотрят неотрывно на дорогу. Увидели «Мазду», оставили *кофий с колбаской*, тронулись с места: ку-ку! Как будто бы и не было гаишного досмотра.

Значит, можем не тревожиться, Роман Петрович? Говорите, попрощались навсегда? Это мы с ними попрощались. А они с нами нет.

– Вася! Едем все вместе в Солнцево, давай на разворот.

– А как же на Чистые?

– Успеем.

То-то удивится фотограф Серега! не доехали до места, развернулись... а ему-то что делать? Он даже позвонить не может, ему телефон Мелькисарова знать – не по чину. Вся связь через Ульяну, как через спутник; накануне вечером она составляет график, утверждает маршрут, она Сереге чуть ли не путевой лист выдает; зверь-баба.

«Жигули», не стесняясь, пристроились сзади. Степан ощутил постыдный признак медвежьей болезни: внизу живота потянуло, в кишечнике заурчало; стыдоба. Дашкинс не слышит бульканья? Не слышит. Но явно чувствует: что-то не так. Тихую свою ручку мягко кладет ему на колено, мирно, без намеков, почти бесполо гладит: ты не бойся, я здесь, я с тобой, я верю: ты меня защитишь.

И то ли от этого жеста, то ли от чего другого, но воспаленная память внезапно посылает подсказку. Перед глазами проносится неоформленный образ; Степан успевает его ухватить, возвращает обратно, водворяет на место – и тело становится легким, живот отпускает. Ну конечно же, это Ульяна! *Господибожесымой*, как же он мог позабыть!

Впервые чернявый появился не там, не за углом, не в Потаповском. А возле офиса Ульяны на Арбате! Мелькисаров был доволен разговором; довольный человек по сторонам не смотрит, он весь внутри себя, проживает прошедшую встречу и завтрашнюю перспективу, улыбается, поднимает домиком брови, щурит глаза, бредет наобум. Какая разница, что вокруг; главное, что внутри. А внутри разливалось блаженство, екало сердце, подкатывал смех: то-то будет у них эпилог!

Между тем на тротуаре урчал трухлявый автомобильчик; под выхлопной трубой автомобильчика на снегу расплзлось пятно; это черное пятно он тогда отметил краем глаза, и подкорка сама в себя записала: жигуленок, четверка, пикап! Записала и отправила запись поглубже; навряд ли она пригодится. А вот и пригодилась. Это чернявый стоял наготове в Могильцах, ожидая от Ульяны хозяйской отмашки, короткой команды: фас! Команда тут же поступила; жигуленка сняли с ручника, вдавили полудохлое сцепление, и потихоньку, полегоньку покатали вслед за ней. Не за ним, а именно за ней, за «Маздой»! Вот чего он вовремя не понял; вот почему потом попался на крючок.

Если все анализировать холодно, без эмоций, картина выходит ясная. Где и когда появлялся чернявый? Только вместе с фотографом. Какие выводы последуют? Такие. Ульяна женщина неглупая. И очень осторожная, иначе невозможно. Бизнес у нее доходный, но смутный и, в общем, чересчур опасный. Потому что фотограф – всегда зависит от заказа. Есть заказ – хорошо; нет заказа, приходится лапу сосать. Зависимость всегда продажна. А клиент довер-

чив, беззащитен. Как прикормленный зверь. Ласково крутит хвостом, пачкает морду в чане с похлебкой, нюхает самку, ничего не стыдится; все свои, ну какие могут быть тайны.

Могут, могут!

Фотограф шелк-шелк-шелк, клиент позирует, отыгрывает сцену; откуда ни возмись серьезные грустные люди: парень, есть просьба, давай-ка ты нам не откажешь? Вот видишь, герой фотосессии с бабой? на переговорах с клятыми врагами босса? поджигает косячок? сыплет белую дорожку из кокоса? Ты не сиди без дела, продолжай работу; тихонько так, незаметненько. А мы тебе вот *скоко много* денег дадим.

Фотограф соблазнится, отработает чужой сюжет под прикрытием Ульяниного замысла и навсегда исчезнет с ее горизонта. Клиента возьмут за грудки; он тепленький, расслабленный, уверен: отоврался. Да не тут-то было. Позвонят, подъедут, постоят. Убедительно, без иллюзий. Придется уступить их внушительным доводам, повторно откупиться от правды. А кто ответит за иудин грех? Хозяйка заведения. Стало быть, ей надо страховать, напряженно следить за следящим. Чтобы тот всегда был под прицелом. И прицел нельзя скрывать от мишени; ни-ни, пусть грозно торчит, как ствол автомата из-под партизанской дерюги. Фотограф должен осязать опасность, жить и помнить, что все под контролем. В отместку сам присмотрит за коллегой – и доложит, если что не так; наблюдатель тоже человек; социализм, как нас учили в школе, есть учет и контроль.

Если бы он, Мелькисаров, владел Ульяниной конторой, он бы так и обустроил дело. И чтобы не снижать рентабельность проекта, на роль *приглядывающих* взял бы не безумно дорогих профессионалов, а приезжую шушеру. Дешево и сердито. А поскольку он умен, Ульяна неглупа, постольку ход мысли у них должен быть примерно одинаковым. Значит, она так и поступила.

Расфокусированная жизнь настроилась, снова стала четкой. Как будто он сначала потерял очки, а потом нашел – они были в нагрудном кармане, а он искал футляр в боковом. Впрочем, лишнее усердие опасно; кто просил Ульяну выходить за рамки контракта? Почему не сказала, не предупредила? Что за самостоятельность? Или так ее задело фото из ГАИ? то, что обошелся без нее? И теперь она дразнит, ставит Мелькисарова на место? Что же, Ульяна Афанасьевна, вы нам так, а мы вам эдак. Кто кого?

– Василий, давай тормози! Это что у нас? Киевская? я давно на метро не ездил. Вырулишь на Дорогомиловскую, остановишься, Сереге посигналишь, он выйдет – устно дашь отбой. Потом доставишь гостью, машину подгонишь к дому, до утра свободен. Дашкинс, целую, до встречи!

Так Василия давно не унижали. Сначала отодвинули от шашней; убздевушку возим-привозим, официально, без поцелуев, *здрасьтедосвиданья*, а то по ней не видно, кто она такая и почем. Теперь и вовсе полная отставка. На метро. Дескать, лучше с простым народом, в духоте и вони, чем с тобой, Василий Владимирович. Узнают шоферюги, засмеют.

## 5

Никогда не каталась под ручку. И даже не ходила никогда. Несовременно и смешно. Бобик Жучку взял под ручку. Так бабушки с дедушками ковыляют; он с палочкой, она с авоськой, жалкие такие, хочется погладить по головке. Но Иван, не спросясь, ухватил ее под локоть, поплотней прижал и покатился; пришлось подчиниться, принять его ритм и попасть в его такт. Свитер у Ивана был мохнатый, под горло; модный фиолет перетекал в мутно-белый, белый растворялся в синеве. Шапочка была тоже синяя, но не лыжная и не конькобежная, а полудомашняя, со смешными ушками; веревочки свисали низко, как еврейские пейсы.

– Что мне не нравится, Жанна, что мне решительно не нравится. Вам удобно так, на пару ехать? очень хорошо. Мой фотограф клянется-божится, что ничего не напутал и напутать не

мог: он вообще снимал в Москве и Нижнем на разные камеры и в разные файлы сбрасывал снимки. Но то ли он действительно случайно не заметил, куда и какой положил отпечаток, а теперь виляет, чтобы не попасть на штраф, то ли нагло врет, а сам работает на два фронта.

По словам Ивана получалось, что нормальная логика сбита, как прицел на винтовке; надо бы отцентровать, но негде закрепить оружие, все приходится делать на весу. – Версия номер один. Мир перевернулся, и в ход событий вмешались темные силы. Охотно допускаем, но не принимаем в рассмотрение. – Версия номер два, она гораздо вероятней – и это, Жанна, мягко говоря; наш фотограф Серега лукавит, а сам давно уже переметнулся, решил обслужить врагов Степан Абгарыча; есть же у него враги?

– Не знаю.

– Не может не быть. Не может. Внимание, разворот; отлично.

Однако ж есть и третий вариант, и он, похоже, самый разумный, потому что прост до примитивности. А как нас учили, изо всех возможных объяснений выбирайте самое простое. Перекрученная фабула – враг динамичного действия, она его излишне тормозит.

– А где вас учили, Иван? И где вы таких литературных слов понабрались, неужели в юридической академии?

Ваня на прямой вопрос не ответил и как-то поежился. Стал обводным маневром уходить от темы; дескать, какие бывают смешные люди, вот тот особенно, с картофельным носом, ну просто набалдашник!..

Они пошли на третий круг; из динамика душевно запел Джо Дассен.

– Кстати, Ваня – а можно мне вот так, по праву старшинства вас называть? – вы хорошо ведете, уверенно, по-мужски.

– Опять вы про возраст. Между прочим, я почти не младше, я практически ровесник; я-то знаю, я вашу анкету читал. Тем более годится: я просто Ваня, а вы просто Жанна, идет? Так вот про третью версию. Супруг ваш, Степан Абгарович, мужчина приметливый, осторожный. Заметит, что за ним следят – берегись. Мог он отловить Серегу на месте законного, так сказать, преступления, напугать, переманить, перехватить?

– Мог. Степа – мог. Не сомневаюсь.

– Тогда он запросто мог перевернуть игру. Запустил ее от последнего хода к началу. И теперь издевается над нами, подкладывает карточки, загоняет в тупик. Может быть, попробуем использовать спецсредства, простите за такой жаргон, не литературный, и даже не очень-то юридический. Вы не мерзнете, Жанна?

Жанна не мерзла. Но мелкая дрожь пробежала по телу, от подмышек по бедрам к коленям. Что-то тут снова не так, что-то тут есть нехорошее, и кончиться может – дурно.

Иван легко притормозил, ласково развернул Жанну, посмотрел в глаза. Снег мельтешит, приходится часто смагивать. Верить ему или нет?

– Есть такое устройство, милая Жанна, что-то вроде маячка. Крохотная пластинка, миллиметра три на три. Ее можно вклеить внутрь телефона, на стенку съемной крышки, никто никогда не заметит.

– И дальше что?!

– Не спешите сердиться, я прошу вас. Есть у вас лишний навигатор? и не надо, мы уже купили – вы его включите, и на нем вдруг появится карта. На карте возникнет жирная точка. Степан Абгарович за город, и точка туда же. Он в ресторан, и она тут как тут. Я принесу вам новые фотографии, вы посмотрите и сразу же определите: то или не то? Там или не там? Совпадает или расходится? Нижний или Москва? Жанна, прибор будет только у вас, не волнуйтесь. И вы можете отклеить маячок. Если захотите. В любой момент. Вы. Только вы. У меня такой возможности не будет.

Жанна не ответила ничего. Она с силой, зло оттолкнулась, поехала, и Ваня вынужден был поспешить за ней. Теперь она вела; она была сильнее и жестче, а он пристраивался сбоку, подчинялся ей и ждал ее решения.

– Не волнуйтесь? Не волнуйтесь, значит. Не волнуйтесь. Вы меня, Иван, за дурочку держите? Вы получите сигнал на другую штуковину с точно такой же картой, и станете следить за Степой. Для меня? А может быть, не для меня? Когда он уезжает? А может быть, и когда он дома? Вы валите на фотографа. А кто сказал, что я должна вам верить? Кто сказал, что это – не вы, не ваша контора, не ваш Соломон сочинили такое кино? Я слежу за девкой, вы следите за Степой, кто-то следит за вами. Он предает меня, я предаю его, вы предаете меня! Сумасшедший дом. Где вообще точка отсчета? Где твердая почва? Я запуталась, мне скользко, я вам не верю, я люблю своего мужа, я не буду в этом участвовать, я отзываю заказ, забирайте свои авансы и пропадите вы все пропадом!

Жанна зацепилась коньком, завалилась на бок, стукнулась о лед. Иван рванул ее вверх, поставил на ноги, прежде чем она успела почувствовать мгновенный холодный удар. Но удар все-таки был, скула болит, а варежка у Ивана жесткая, из собачьей, что ли, шерсти? Оказывается, Иван умеет и с ней разговаривать резко.

– Ну разумеется, сумасшедший дом. Построен по вашему личному проекту. Из-за любимого, как вы говорите, мужа. Не хотите, не делайте ничего. Не можете мне верить – и не верьте. Считаете предателем – и считайте. Доказать я, конечно, ничего не могу. Но если случится беда, спрашивайте тогда с себя, Жанна Ивановна. Кашку вы заварили? вам ее и кушать. А твердая почва где? да хотя бы вот здесь, на льду. Правда, подо льдом вода. Но глубоко, промерзло все как следует, растает не скоро.

Молчание. Играет старая добрая музыка, похрипывает Тото Кутуньо. Лезвия коньков подрезают лед; слышны хруст и звон. Натужно смеются девчонки: мальчик один на всех. Желтый свет фонарей, зыбкий туман, смутные очертания домов; вечернее небо изнутри подсвечено Москвой. Некуда деваться. Ничего уже не отменишь. Если теперь отказаться, можно себя извести. Подозрения угнездились в сердце, сами собой не исчезнут; их нужно либо полностью развеять, либо уже до конца подтвердить.

– Хорошо же, Иван, я согласна. Давайте ваш треклятый маячок. Как его клеивать? Куда? Под крышку? А по-другому никак? Я же ногти сломаю.

## 6

Стеклянные двери с трудом поддались; в лицо ударил перегретый воздух; пахло затхлым уютом. Сколько он не ездил на подземке? Десять лет? Двенадцать? Все пятнадцать? В Париже и Риме в метро спускался, ездил по Нью-Йорку с неграми, вдыхая кукурузную отрыжку и запах пива в промокшем пакете, а в Москве давно отвык, позабыл уже, что и к чему.

Картонные проездные. Раньше таких не было, раньше были пяточки, потом жетоны. А теперь приложишь к турникету, проходи на зеленый свет; почти как магнитные карточки в охраняемом офисе. Суббота, вечер, а народу много. Большинство в спортивных костюмах, у кого за плечами лыжи, у кого сноуборды в футляре; несколько поддатых рыбаков с подледной снастью: на ногах безразмерные валенки, на плече кургузый фанерный ящик, непременно защитного цвета, сбоку привинчен бур, вид допотопный, бурлачный, репинский. Видимо, только что подошла удобная электричка, все ринулись в метро.

Толпа энергично сдавила, пропитала запахом свежего перегара, грубого пота, приличного одеколona, увлекла за собой, весело толкнула на эскалатор. Степан уплывал куда-то вниз, в опасную глубину, озираясь по сторонам. Светящиеся столбики сменяли друг друга; на подпоры кто-то наклеил рекламки:

*Революция будет!*

734!

*Все – жесть!*

*Ждем в клубе Б-3!*

За спиной притулилось семейство, перегруженное санками и лыжами; подобревший, обмякший папаша объяснялся с женой и дочкой:

– Девочки, какие ж вы хорошие, я должен вам сказать, девочки, что я вас очень люблю. Правда-правда. Но чтобы жизнь у вас была не мухоморская, мне надо много работать. Реально, много работать. И я работаю.

– Спасибо, папа. – Кажется, девчонка над ним смеется. Но не очень зло.

– И если у меня не всегда получается вам сделать все как хочется, то не потому, что я не хочу, а потому что не могу. Реально, не могу. Вы, девочки, не должны на меня обижаться.

– А мы не обижаемся. Только мама не девочка, а женщина...

– Э, милая, ты еще не поняла, как же многого ты еще не поняла, девочка моя, но ты обязательно поймешь. Можно я тебя поцелую?

– Ну ладно, поцелуй. Фу, какой ты мокрый. Хихи. Совсем как твой Джульбарс.

Набрался, назююкался; хорошо хоть не икает. Что толку от такого мужика? Скучная работа, вечерний выгул беспородного пса, тупое субботнее катание за город, водка из пластмассовых стаканчиков на обратном пути в электричке, детям выделены чипсы, разговоры про то, как правильно все было в пионерах. Бабы должныдохнуть с тоски, как мухи от холода. А они, заразы такие, недохнут. Скорей наоборот. Степан Абгарович чувствовал спиной: *девчонки* довольны, расслабились; им немного смешно, папашка набряк, стал разговорчивый и чуточку слюнявый; но ведь хороший наш папашка, любит и денег дает, день был отличный, и жить вообще-то неплохо. Завтра вот поспим подольше, в Макдональд пойдем.

Люди в вагоне сидели плотно, подвисали на перекладинах, шатались по ходу движения. Таких людей он никогда не видел. Которые так выглядят, так пахнут. Котлетами с зеленым луком, поддельной «паломой пикассо», свежим лаком для ногтей, солярием, хорошим кремом, плохими ботинками, подледной рыбой, лыжной мазью; всем сразу, несовместимо.

Когда (двенадцать все-таки или уже пятнадцать?) он ездил в метро, забивался в троллейбусы, даже как-то раз электричкой добирался к Томскому на первую красно-кирпичную дачу, пассажирские массы были другие. Во-первых, действительно, широкие, толстозадые. Сейчас – чем моложе, тем тоньше. Во-вторых, однородные, потертые, советские, и пахли чем угодно – сельдью, уксусом, «Агдамом», желудочным духом плохой колбасы, польской косметикой, дрянью какой-то, только не «Монбланом», пускай фальшивым; цельные были люди, без этой странной смеси французского с нижегородским, бомжовой дикости с парикмахерским лоском. А теперь их словно подменили. То ли вывели новую породу, то ли подправили старую.

Напротив – комичная тетка, рыжие космы накручены, залакированы; нырнула в белую искусственную шубу, нахохлилась: лохматая кукуруза торчит из сугроба. Девушки в коротеньких курточках; на улице холодно, а бока выползают. Бока загорелые, из солярия, но с неправильными пупырышками, простонародные. На груди у них, наверное, милые прыщики. А у девушек, которые ездят в затемненных машинах и состоят при грамотных мужиках, прыщиков не бывает. Даже, наверное, у Даши. Исключено. На целлулоиде прыщики не растут.

Кого он видел в эти годы, с кем соприкасался? В офисе – ровные фемины, размер к размеру, юбка не выше колена, бедра не шире стандарта, прическа хороша, аккуратна, и блеск волос, как на рекламе; неотличимы друг от друга. Юноши со скучными глазами, плотный воротник, угол среза – сорок пять градусов, не больше и не меньше; широкий галстук, грамотно подобранный дезодорант. Ничего личного, только бизнес.

Друзья. А где они, эти друзья? Разве что Томский. И то лишь потому, что делить им нечего, прошлое не тяготит, расстались хорошо. А так? Сплошные контрагенты, резвое сияние



улыбок, бодрый разговор, полседьмого устроит? Нормально. Хорошо посидели, до встречи. Которой не будет, потому что – зачем?

В ресторанах – жесткая селекция по возрасту, посетители не старше шестидесяти и не моложе двадцати; если появляется старик, то обычно подчеркнуто мерзкий, отмороженный, похотливый, представляет знакомым очередную племянницу-полулётку, а с губы слюна бежит. Старух не бывает вовсе; а у подростков свои тусовки. На улице мелькают примерно такие же, как здесь, но разве же их разглядишь? Все на скорости, как в тумане; вышел из машины, нырнул в сияющий интерьер, по пути скользнул взглядом: это кто такой? а, современник, не задерживайся, братец, проходи.

– Граждане пассажиры, братья и сестры, простите, что я к вам обращаюсь! – заныла молодуха, вся смуглявенькая, плотно сбита, губастая.

– Муж умер, дом сгорел, у ребенка операция! – гундосила она речитативом, как в церкви читают молитву, нараспев.

– Подайте, кто сколько может, да пошлет вам Бог здоровья!

Протискиваясь сквозь вечернюю толпу, молодуха зло и прямо смотрела в глаза; не подавшим желала здоровья и счастья, будто насылала проклятье, колдовски крестилась – быстро, мелко.

– Степан Абгарович, вас-то как сюда занесло? Вы не выходите, кстати? – рявкнул ему кто-то в самое ухо.

А это кто такой? Быть не может. Арсакьев.

## 7

Жанна положила футляр с маячком на подушку, включила навигатор.

По экранчику растекся ядовитый свет, серо-голубой, как мокрый асфальт перед ночной витриной. Проявились, загустели цвета и оттенки: желтенькие трассы, темно-зеленые дома. Развернулась подвижная карта, обозначился их район. Проступает их прямоугольник номер восемь... рисунок замер, чуть дрожит, точка прицела мигает. И в точке прицела – она. Жанна. Ее маячок на подушке. И будто нет вокруг ни стен, ни потолка, только страшное небо. Кто-то непонятный, безразмерный ее же глазами глядит на нее из космоса. Равнодушно, холодно, насквозь. Такое чувство, что сейчас нажмут гашетку. Как же неуютно жить. Господи помилуй меня грешную, как неуютно. И нету никого, кто защитит. Царапнуться бы щекой о неприятно-жесткий подбородок, спрятаться на груди, нырнуть под тяжелую руку. Где Степа сейчас? С кем он? О чем говорит? Был бы маячок у него в телефоне, она бы знала. И не мучалась догадками. А может, мучалась бы еще сильнее. Но пока что маячок у нее.

Всем хороша огромная квартира. Праздник простор, блаженное бродячее безделье, из уголка в уголок, с диванчика на диванчик. Окна откроешь: обступает внутренний покой двора, деревенская тишина столичного центра; где-то там, вдали, сыто урчат машины, гоношит сигнализация; птичий щебет детей на площадке вызывает острый приступ зависти и вспышку восторга; ранним утром и вечером туго звонят колокола, и тонкий сквозняк змейкой ползет по твоим следам. Но как только нагрянет тоска – пиши пропало. Мечешься по бесконечному пространству, ползешь сквозь анфиладу, возвращаешься по коридору, заглядываешь туда, сюда – нигде не сидится, и снова попадаешь в исходную точку. Как в игровом компьютерном кошмаре; за тобой гонится черный ужас, направо, налево, направо, направо: стоп, а здесь-то мы уже были? и дальше куда? Никуда. У вас осталось четыре жизни.

Три главных человека было в ее жизни. Мамичка, Тёма и Стёпа. Папичку она обожала, это он ее вылепил, обучил всему; она и до сих пор живет с оглядкой на него; и все-таки он навсегда остался там, в детстве, в юности: смотрит на нее издалека, прикрывшись от света ладошкой, и она оглядывается на него; он все меньше, меньше, уже на линии горизонта, скоро исчез-

нет. Папичку вытеснил Стёпа; он стал для нее самым умным, самым сильным. Когда родился Тёмочкин, то Стёпы как бы стало – вдвое больше. Ей первым делом показали маленькую пипу: дескать, мальчик, мальчик! *votre fils!* а она смотрела снизу вверх, на недовольную рожицу. Это был Мелькисаров, крохотный, смешной до невозможности... Но все-таки, совсем немного – это был и папичка, с его скептической улыбкой, дескать, знаем сами, как надо жить... А мама была – навсегда одна, ничто ее не удваивало, не продолжало, только Жанна. Они обе одинаково говорили от имени маленького Тёмы: я поел, мне чего-то спать не хочется, как я хорошо обкакался. Маме в Томске становилось плохо – Жанна просыпалась от ледяного укола: вставай! Когда же ей самой хотелось встречной ласки – телефон, как по заказу, в эту самую секунду содрогался длинными гудками. Межгород! мамичика.

Мамину смерть она проморгала; как это могло случиться – непонятно, просто не вмещается в сознание. Это был 2003-й, октябрь. Только-только начались каникулы; она хотела повезти сыночка в Болонью, где древние красные башни, оттуда податься в Равенну, там золотисто-зеленые мозаики, и, может быть, в Римини, пройтись вдоль берега, вдохнуть последнее осеннее тепло. Но Степа уперся: Байкал. Холодно, не холодно – неважно; перетерпим. Зато какая мощь и красота!

Красота началась по дороге в Листвянку. Дождь косо расшибался о стекло, отбивал чечетку на крыше джипа; трасса, как трамплин, взлетала вверх – и плавно оседала на спуске; сквозь водяное марево внизу мерцало чем-то красно-желтым; казалось: ты смотришь откуда-то сверху – на себя, свою машину, узкую бетонку и бесконечный березняк, переходящий в ельник; вдруг по правую руку развернулось черное озеро, распаханное ливнем; вот это и был настоящий простор, а прежний пейзаж в одночасье скукожился, померк: словно бы бинокль перевернули. Тёмочка смотрел во все глаза, не отрываясь; Стёпа с интересом глядел на Тёму; а Жанна видела обоих, и тихо радовалась: это было счастье.

На следующий день погода стихла. Тучи разорвало, пробилось холодное солнце. Они гуляли с Тёмой по осклизлой набережной, внюхивались в клейкий запах копченого омуля, осторожно брали губами с пластмассовой ложки оранжевую мелкую икру: пересолили! И с удовольствием поджидали Стёпу, который пробовал договориться о большой воде. Никто не соглашался покидать пределы бухты, риск; но жадность все же пересилила; они взошли на палубу баркаса, сели под навес – и тут же их заколотило, затрясло: мотор заработал громко, бурно, как движок на старом тракторе, мутно запахло соляжкой, и навстречу им двинулся ясный простор.

Оглядываться на берег совершенно не хотелось, только вперед, вперед – туда, где обрывается кромка далеких холмов, и остаются только небо и вода. Баркас на повороте накренился, на палубу плеснулась короткая волна; Тема ринулся, успел зачерпнуть ладонью: ему рассказывали, что это море – пресное, он захотел немедленно проверить. Стёпа встал и мужественно загляделся вдаль; ему очень шло моряцкое выражение лица. Но минут через десять-пятнадцать он крикнул поддатому капитану: чуешь? Тот рявкнул: чую! разворот.

Перекинувшись через холмы, над озером распространилась сизая полоска, расплывчатая, волокнистая, как будто выпустили дым из курительной трубки. Жанна оглянулась: над берегом образовалась завеса, потемней и погуще. И справа, над железной дорогой, нависла неприятная синева... Пока баркас описывал дугу для разворота, разрозненные тучи на страшной скорости помчались навстречу друг другу, к центру озера; яркий световой круг над Байкалом сужался, и чем он становился уже, тем казался ослепительней; вдруг раздался мгновенный ветер, в уши ударила боль; поднялись крутые волны, края у них были острые, как сколы... Минута-другая, и все бы...

Возбужденно отобедав ухой и омулем с картошкой и выпив за счастливое спасение, нечаянную радость, они вернулись в гостиницу. На пестром покрывале валялся телефон; на экранчике белела надпись: непринятых звонков – 34... Через два часа, обгоняя надвигающийся

вечер, они уже неслись по омской трассе. Тёма дремал у нее на плече; Стёпа вцепился в руль и молчал; ей тоже не хотелось говорить; она обледенела, замерла. И все пыталась осознать: ну как это, мамочки нет? как это – нет? почему?

Больше ей никто и никогда не звонил в ту самую секунду, когда становилось невесело. Звонила – только она сама.

По Москве уже ровно одиннадцать; в далеком Веве еще девять; Тёмочкин будет сердиться, но и пусть, нету никаких сил терпеть.

– Да, срочно нужен; да, мадам, прошу прощения, мы знаем распорядок; хорошо.

Английский выучи как следует, ты, дура, а потом возникай.

– Тёмочка, сыночек, это мама.

– Слышу, не глухой. Что ты звонишь?

– Очень соскучилась, хотела услышать твой голосок.

– И ради этого нарушила порядок? Ты же знаешь, что здесь звонят по расписанию. Или в крайнем случае. Что за крайний случай, мама?

– Ну, Тёмочка, может маме стать нехорошо? когда ей нужна твоя поддержка?

– К папе сходи, он поддержит. Точно ничего специального не случилось? Тогда спокойной ночи.

– Как ты с матерью разговариваешь?

Гудки.

## 8

– А вы, Олег Олегович, как тут очутились?

Олег Олегович Арсакьев, по прозвищу Оле-Оле, был твердый и ясный старик. Маленький, ехидный. Говорил громко, торопливо, мысли бежали вперед, обгоняли нечеткую дикцию. Запутавшись, чертыхался, тряс розовыми щечками, поправлялся: эт-самое, я что хотел сказать. И продолжал клочковатую речь, опаздывая отвечать на встречные вопросы.

– Кого-кого, но только не вас, Мелькисаров. Я? мы что, мы люди вольные, пенсионеры, можно сказать, с утра до вечера ничего не делаем, а вы? Орлы! бдите, где еще кусочек тяпнуть. Еду вот, ненавижу пробки, нервы сдают – старик, что с меня взять? Отпустил водителя и еду. Могу себе, так сказать, позволить. Эт-самое, я что хотел сказать? Вы сейчас выходите? Заглянем в ювелирный, внучке закажу колечко: девка сессию сдала, горжусь.

Мелькисаров знал миллионеров, продолжавших ездить на метро и даже не имевших собственных машин: хорошие хирурги, модные архитекторы, адвокаты второй руки. Их небольшие миллионы когда-то копились вручную; стопки конвертов росли в допотопных обтерханых сейфах, туго набивали их, как детские монетки набивают брюхо глиняной свиньи. Потом клиенты приезжали к Мелькисарову: ближе к ночи, дрожа от страха. Оставляли деньги под расписку, на доверии. Мелькисаров по своим каналам выводил наличку за рубеж. Но не в кичливый Лондон или всемирный Нью-Йорк, а на тихонькую цюрихскую биржу; был у него там человечек – вечером писал непонятные книжки про Герцена, а днем хорошо торговал. Раз в год миллионеры из метро приезжали за своим процентом. Брали, опять же, наличными. Конверты снова попадали в сейфы, денежки складировались и копились. Через год их привозили Мелькисарову, он принимал на счет, писал бумажку от руки, и все повторялось с самого начала: круговращение денег в природе.

Но Арсакьев – другое дело. Происходил он из военных инженеров, был образцовым технарем и настоящим доктором наук. Протестных писем против власти не подписывал, но никогда и не подгакивал: долой! осуждамс! одобрямс! Жил наособицу, отдельно. Летом байдарка, костры и гитара, туманы-запахи тайги, комариная чесотка, смачный чернозем под ногтями и детские ссадины на костяшках. Зимой неподъемные горные лыжи, шерстяные шапочки, Дом-

бай, Карпаты, Цахкадзор, красноватый загар, неисполнимая мечта об Альпах. Весной и осенью романы, разводы, выволочки в парткоме, женитьбы на женах друзей. Хорошая жизнь без печали и денег.

Кооперативы он проспал; когда очнулся, было поздно. Ни хорошей жизни, ни денег. Влюбчивые девушки исчезли за толстыми стеклами чужих мерседесов; друзья поскущели; их жены оплыли, обрюзгли, надели просторные платья в цветочек и стали отвратительно ворчливы. Отврратительно! Можно было сдаться и помчаться по течению вникуда, как несутся бесхозные бревна на быстром алтайском сплаве. А можно было собраться в пружину – и дать нахальной жизни последний решительный бой.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.